

8 (с) р (с 128)

ПЗС

# ПИСАТЕЛИ В ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ



КАЛИНИНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

Гор. КАЛИНИН \- 1941

ПРОВЕРЕНО  
1986

2. 2003

1.148481

ЗАДАЧА

ПРОВЕРЕНО  
1983

ПРОВЕРЕНО  
1986

ПИСАТЕЛИ

В ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

СБОРНИК СТАТЕЙ

Авторы отдельных статей сборника:

- К. Емельянов* — Достоевский в Твери.
- Н. Журавлев* — Белинский в Прямухине; А. Н. Островский в Тверской губернии; А. М. Горький на Каменской фабрике.
- Н. Журавлев и Н. Попов* — „Хождение в народ“ С. М. Степняка-Кравчинского; Литераторы в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме; А. И. Эртель под гласным надзором; К творческой истории „Чайки“.
- П. Пономарев* — Страницы к биографии Г. Е. Нечаева.
- А. Смирнов-Кутаческий* — В поисках художественной правды.
- Я. Суханов* — Разоблачение царства Савиных.
-

## ОТ РЕДАКТОРА

История Тверской губернии тесно связана с именами многих, в том числе крупнейших, писателей и поэтов.

В Тверской губернии неоднократно бывал А. С. Пушкин. Его поездки из Петербурга в Москву происходили через Вышний Волочек, Торжок и Тверь. Несколько раз заезжал поэт в тверскую деревню Вульфов—Малинники (имение П. А. Осиповой), бывал в Павловском (у П. И. Вульфа), в Бернове (у И. И. Вульфа), в Курово-Покровском (имение Понафидиных), в Старице.

Об этих посещениях достаточно известно, чтобы нужно было о них особенно напоминать.

Широко и подробно известно о пребывании в Тверской губернии М. Е. Салтыкова-Щедрина. Здесь (в селе Спас-Угол, Калязинского уезда) Салтыков родился, здесь прошли его детские годы, оставившие заметный след в творчестве писателя; с 1860 по 1862 год Салтыков прекрасно проявил себя на посту тверского вице-губернатора, борясь с бесчинствами помещиков, защищая интересы крепостных крестьян. В Твери окончательно сформировалось мировоззрение великого русского писателя, решительно перешедшего в лагерь революционной демократии шестидесятых годов—в лагерь Чернышевского, Добролюбова и других.

С Тверской губернией был связан В. Г. Белинский. В бакунинском имении Прямухино (Новоторжский уезд) великий критик испытал сильную любовь. Прямухино сыграло немалую роль в литературном и философском развитии Белинского.

Неоднократно в Тверской губернии, в частности в Твери, бывал великий русский драматург А. Н. Островский. Многие наблюдения писателя над местной жизнью и бытом нашли затем отражение в ряде его произведений. „Гроза“, „На бойком месте“ и некоторые другие пьесы Островского в известной мере были созданы на материалах, собранных писателем во время его поездок по Тверской губернии.

Несколько месяцев жил в Твери, занимаясь творческой работой, Ф. М. Достоевский.

Осташков оказался в центре внимания такого выдающегося, но еще, быть может, недостаточно оцененного писателя 60-х годов, как В. А. Сленцов. Его „Письма об Осташкове“, печатавшиеся в журнале „Современник“ в 1862—1863 годах, представляют собою острый памфлет, разоблачающий фальшивую филантропию капиталистов в лице осташковского „благодетеля“ и воротилы—Федора Кондратьевича Савина.

Вышний Волочек хранит память о многих литераторах, по нужде посетивших его. В этом городке находилась одна из пересыльных политических тюрем. В. Г. Короленко, Г. А. Мачтет, Н. Ф. Анненский и другие писатели испробовали всю „сладость“ заключения в „пересыльной № 2“, отличавшейся нечеловеческими условиями содержания „арестантов“.

Невозможно в нескольких строках рассказать о всех фактах и именах, касающихся литературы и связанных с Тверской губернией. Назовем таких писателей—из еще не упоминавшихся нами,—как И. А. Крылов, В. А. Озеров, А. Е. Измайлов, Ф. Н. Глинка, А. И. Полежаев, А. В. Соллогуб (автор повести „Тарантас“), И. И. Лажечников, П. Д. Боборыкин, П. В. Засодимский, С. Д. Дрожжин, Г. Е. Нечаев (один из старейших пролетарских писателей, автор „Мучеников гуты“), С. В. Ковалевская (первая женщина—профессор математики, автор „Воспоминаний детства“, романа из жизни русских революционеров—„Нигилистка“, драмы „Борьба за счастье“), Л. Н. Толстой, А. П. Чехов, великий пролетарский писатель А. М. Горький.

Но мы пока говорили об известных литераторах. А сколько неизвестных имен! Сколько затерянных и погубленных литературных талантов, так и не развернувшихся в условиях помещичьего и помещичье-капиталистического строя! О них, как правило, нам нечего сказать—мы ничего или почти ничего о них не знаем, хотя, несомненно, были среди этих талантов и такие, которые имели прямое отношение к Тверской губернии.

Сошлемся в качестве примера на крепостных писателей и поэтов. В материалах Калининского областного исторического архива о них сохранились лишь скудные сведения. Так, известно, что в Кашинском уезде у помещика Вельяминова-Зернова, в качестве диковинки, чтобы развлекать гостей, содержался в дворне крепостной стихотворец. Но имя этого, возможно талантливого, представителя крепостной музыки так и не дошло до нас.

В седьмом „Письме об Осташкове“ В. А. Слепцов рассказывает о поэтических опытах некоего П. К. Стременаева, служившего поваром у одного видного осташковского купца (С. К. Савина). В областном архиве имеются рукописи Стременаева, в том числе рукопись стихотворения „Пароход на Селигере“ (на открытие пароходства в Тверской губернии), приводимого в отрывке Слепцовым. Позволим себе процитировать это стихотворение полностью, в соответствии с имеющимся в нашем распоряжении оригиналом:

### **Пароход на Селигере**

Селигер! В наш век спокойный,  
На раздольи своих вод  
Вот и ты увидел стройный  
И могучий пароход.  
Вот шумит он и дымится  
Без весёл и парусов  
И, послушный пару, мчит  
Против ветра и валов.

Подавляя зыбь крылами,  
 Он летит с огнем в груди,  
 Пена высится холмами  
 По бокам и назад.  
 Седигер! Таких событий  
 Не бывало здесь в твой век,  
 Но на попроще открытий  
 То ли сделал человек!  
 Самовластно он отводит  
 Гром небесный от себя  
 И давно вокруг света ходит,  
 Свет познаний полюбя.  
 Солнцем пишем мы картины,  
 За луну нам светит газ,  
 Через безмерные пучины  
 Морьям вождем коммас.  
 Вихрем носимся по свету  
 Вдоль по рельсам на парах,  
 Вот и новую планету  
 Отыскали в небесах.  
 И прядем, и ткем парамн,  
 Возлетаем к облакам,  
 За полярными морями  
 Все вперед идем по льдам.  
 Города в земле отрыли,  
 В Темзе тоннель провели.  
 Мало ль в свете что открыли,  
 Только счастья не нашли.  
 Седигер! Прими участие  
 В начинавьях наших сам.  
 Да приносит весть о счастье  
 Пароход к твоим брегам.

Да ведь это—гимн науке! Гимн технике! Правда, выражен он в наивной и несовершенной форме. Но обратите внимание на следующие, выделенные нами, строки:

Города в земле отрыли,  
 В Темзе тоннель провели.  
 Мало ль в свете что открыли,  
 Только счастья не нашли.

Строки эти явно диссонируют с хвалебной настроенностью остальной части стихотворения. Однако именно в них главное.

Чтоб одного возвеличить, борьба  
 Тысячи слабых унесит—  
 Даром ничто не дается: судьба  
 Жертв искупительных просит...

Так писал в свое время Некрасов.

Писатели и поэты, выходцы из народных низов, оказывались на положении „искупительных жертв“, не знавших „счастья“. Лишь единицы выбивались в люди, приобретали литературную известность. Нищенское существование, чахотка или Сибирь, тюрьмы, этапы—вот участь писателей из народа в дореволюционной России.

Впрочем, аналогичные судьбы постигали не только литераторов, вышедших непосредственно из трудовых низов, но и писателей из привилегированного круга, выступавших в той или иной мере в защиту интересов народа.

Достоевский, Короленко, Мачтет, Степняк-Кравчинский вошли в эту книгу, в частности, и как писатели, подвергавшиеся в пределах Тверской губернии надзору и репрессиям со стороны полицейских властей.

„Реактивной акции (т. е. реакции.—Н. П.) закон: кто вперед—того из ряда вон“, — иронизировал в свое время небезызвестный поэт-сатирик 60—70-х годов В. С. Курочкин. Этот „закон“ действовал вплоть до октябрьских дней 1917 года.

\* \* \*

В книге „Писатели в Тверской губернии“ речь пойдет о писателях, проявивших себя в литературе. План первого выпуска книги (предположены два выпуска) произволен, но не случаен. Он обусловлен в основном теми исследованиями, которые производились отдельными авторами еще до начала составления сборника.

Авторы работ, помещенных в сборнике, по возможности широко использовали неопубликованные или же мало известные архивные материалы (главным образом, из хранилища Калининского областного исторического архива).

Книга находится в тесном родстве с изданной в 1939 году Калининским областным издательством книгой Н. Журавлева „М. Е. Салтыков (Щедрин) в Тверской губернии“ и имеет в виду те же цели и задачи: показать, в чем проявились связи каждого из писателей, о которых идет речь, с Тверской губернией; пополнить или уточнить биографические данные об этих писателях фактами, имеющими непосредственное касательство к их общественной и творческой деятельности; привести новые доказательства в пользу установленных фактов и, наконец, высказать более или менее вероятные предположения о прототипах к отдельным образам, созданным упомянутыми писателями.

Сборник ни в коем случае не претендует на исчерпывающее освещение затронутых в нем вопросов. Его следует рассматривать лишь как один из первых опытов литературно-исторических изысканий, связанных с бывшей Тверской губернией.

Статьи, включенные в книгу, разнородны и по характеру и степени оригинальности использованного в них материала, и по подходу к разработке его, и по глубине анализа фактов и явлений и т. п.

Однако все это не мешает нам надеяться, что сборник „Писатели в Тверской губернии“ будет сочувственно встречен читателями и окажется полезным пособием для интересующихся литературой и краеведением.

---



# БЕЛИНСКИЙ В ПРЯМУХИНЕ

## 1

„В одном из уездов Тверской губернии есть уголок (Пушкин некоторое время жил близ этих мест, у помещика Вульфа), на котором природа сосредоточила всю заботливую любовь свою, украсив его всеми лучшими дарами своими, какие могла только собрать в стране семимесячных снегов. Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях. Да и семейство, жившее в этом уголке, как-то особенно награждено душевными дарами“<sup>1)</sup>.

Так вспоминал о новоторжском поместье Бакуниных — сельце Прямухине — известный русский писатель, автор исторических романов „Ледяной дом“, „Басурман“ и др. — И. И. Лажечников.

Долгое время Прямухино было культурным центром; с ним связаны имена многих выдающихся деятелей литературы. Владелец этого поместья Александр Михайлович Бакунин принадлежал к кружку поэтов, группировавшихся вокруг его родственника Г. Р. Державина. Ближайшими друзьями его были поэты В. В. Капнист и Львов<sup>2)</sup>. Старший сын Александра Михайловича, впоследствии известный анархист, Михаил в молодости примыкал к кружку Станкевича. Члены этого кружка передовых представителей русской общественной мысли не раз бывали тогда в Прямухине, жили в кругу его гостеприимных обитателей. Станкевич, В. Боткин, Кетчер и др. в разное время провели немало веселых дней в Новоторжском уезде. После смерти старика А. М. Бакунина, когда имение перешло к его детям, здесь в разное время побывали А. И. Эртель и Л. Н. Толстой. Во второй половине тридцатых годов прошлого столетия побывал в Прямухине и великий русский критик, революционер-демократ В. Г. Белинский. Это случилось после тяжелой для него истории с гризеткой, которую он неудачно пытался перевоспитать. Белинский мучительно переживал неудачу. В 1835 году он познакомился с Михаилом Бакуниным, который и пригласил его погостить в имении своих родителей. Усталый от изнурительной работы, которую был вынужден вести, чтобы содержать брата и племянника, в самом мрачном расположении духа, Белинский приехал в Прямухино в конце августа 1836 года. Новая обстановка быстро излечила душевные раны критика. Молодежь и особенно сестры Бакунина, радушно встретившие и принявшие его как равного в свою среду, произвели на него неизгладимое

впечатление. Он пережил небывалый подъем духа, который позднее сам назвал своим возрождением.

„Я ощутил себя в новой сфере,—писал он М. А. Бакунину 28 июня 1837 года из Пятигорска,—увидел себя в новом мире; окрест меня все дышало гармонией и блаженством, и эта гармония и блаженство частью проникли и в мою душу. Я увидел осуществление моих понятий о женщине; опыт утвердил мою веру“<sup>3)</sup>.

Своеобразная красота северной природы очаровала Белинского. Прямухино с его прекрасным парком, с живописной речкой и не менее живописными окрестностями казалось ему идеальным поместьем. Часами он гулял по берегам Осуги и около Кутузовой горы. Часто, как он признавался впоследствии, мечтал о богатстве, чтобы иметь возможность купить точно такое же имение, с таким же садом, с таким же домом, с такими же надворными постройками.

„... Я думал: если бы я разбогател, то купил бы себе поместье, с таким местоположением, которое было бы копией с Прямухина. Развел бы такой же сад, построил бы такую же мельницу, такую же фабрику<sup>4)</sup>, такую же кузницу, церковь и, наконец, такой же дом. Внутренние покои, неизвестные мне, заколотил бы наглухо, чтобы никогда ни моя и ничья нога не вступала в это святилище, а остальные убрал бы так же, как в Прямухине, и жил бы один, и бродил бы по саду и по всем заветным местам и, забывшись, ожидал бы встречи с кем-нибудь. То—вот не отворится ли дверь святилища и не выйдет ли кто-нибудь разливать чай, то—вот не мелькнет ли за деревьями розовое платье с белым корсажем, то—не услышу ли мелодические голоса, которые кличут друг друга этими родственными именами, которые я не смею произнести самому себе, в тиши моего кабинета... То-то было бы роскошное упоение тоскою и грустью“<sup>5)</sup>.

Приблизительно до середины сентября Белинский чувствовал себя прекрасно.

„... Мне было хорошо, так хорошо, как не мечталось до того времени,—вспоминал он позднее в письме к М. А. Бакунину,—событие превзошло меру и глубину моего созерцания и моих предощущений“<sup>6)</sup>.

Но вскоре этой гармонии пришел конец. Начались терзания. Белинский мучил себя самоанализом, идеализируя сестер Бакуниных, рядом с которыми считал себя ничтожным человеком. Увлечение Александрой Александровной Бакуниной без взаимности доставило ему немало тяжелых переживаний. Наконец, нелады с Михаилом Бакуниным, которому показалось, что его любимая сестра Татьяна равнодушна к Виссариону Григорьевичу, стали причиной мучительных для Белинского переживаний.

Некрасивый, крайне застенчивый, неловкий в обращении с женщинами, критик стал мишенью для грубых выходок и насмешек Михаила. Известен, например, такой случай, особенно запомнившийся Белинскому. В октябре 1836 года по поводу освящения прямухинской церкви хозяева поместья дали большой праздник, на который собрались со своими семьями все окру-

жающие помещики. Вечером, во время ужина, Белинский, в самом лучшем расположении духа, подошел к Татьяне Александровне и начал „от избытка сердца болтать вздор“. Сейчас же к ним подоспел и М. А. Бакунин.

„Что это такое?.. Новый способ делать комплименты, говоря дерзости?—обратился он к замолчавшему при его приближении Белинскому.—Я чувствовал,—вспоминал последний,—что по всему моему телу, от лба до пяток, запрыгали острые иглы, что белье взмокло на мне и прилипло к телу, и понял, что есть оскорбления, которые могут засыпать, притаиваться, но не исчезать. Мне было непонятно только то, что глупая шутка и кадетское мальчишество могли так сильно оскорблять меня“<sup>7)</sup>.

Насмешки в те часы, когда Бакунины собирались для чтения немецкой литературы (Белинский не знал немецкого языка), насмешки за столом—над неловкостью критика, неуместные шутки и глумление над ним в период работы над статьей, где он пытался уяснить себе „идеи любви к женщине“, приводили Белинского в отчаяние. Не видя сестер Бакуниных, он спешил в их компанию, но под влиянием обидных рассуждений о своих недостатках вынужден был удалиться в отведенную ему комнату в верхнем этаже.

„И таким образом случались целые дни,—вспоминал он год спустя после первого пребывания в Прямухине,—когда я перебегал сверху вниз и снизу вверх, искал общества, и, находя его, бегал от него. И вот причина тех порывов отчаяния, с которыми я бросался на кровать...“<sup>8)</sup>.

В 1837 году в письме к М. А. Бакунину Белинский рассказывал о своих переживаниях, связанных с грубыми выходками, которым он подвергался в Прямухине со стороны Михаила Александровича:

„В первое мгновение это всегда бывало страдание, отвращение от жизни и самого себя. И каждый раз, когда ты унижал меня перед всеми нами своими грубыми выходками, я чувствовал к тебе более, нежели досаду, более, нежели негодование, что-то похожее на ненависть“<sup>9)</sup>.

Но не только нелады с Михаилом Бакуниным отравляли Белинскому наслаждение покоем и гармонией прямухинской жизни. Сама эта гармония напоминала ему, человеку, материально не устроенному, о том, что его собственные средства к жизни крайне скудны, что и брат и племянник, находящиеся на его иждивении, не обеспечены, что единственная его надежда—журнал „Телескоп“—переживает критические дни...

„Я хотел в Прямухине успокоиться, забыться,—пишет он,—и до некоторой степени успел в этом; но грозный призрак внешней жизни отравил мои лучшие минуты...“<sup>10)</sup>.

„Призрак внешней жизни“, о котором Белинский старался не думать, заставлял его и здесь, в Прямухине, не покидать литературной поденщины. В Прямухине он написал две статьи, одна из которых—разбор книги Дроздова „Опыт системы нравственной философии“,—прочитанная в рукописи прямухинским обитателям, была позднее опубликована, другая же в печать не попала, и содержание ее осталось совершенно неизвестным. Нужно

думать, что эта неопубликованная работа великого критика не могла быть напечатана по цензурным условиям. Во время своего пребывания под кровом Прямухина Виссарион Григорьевич через Михаила Бакунина познакомился с философией Фихте и стал на некоторое время ярым фихтеанцем. Но, в противоположность своему философскому наставнику, он быстро уловил в этом учении революционные черты. По его словам, он „фихтеанизм понял, как робеспьеризм, и в новой теории чужал запах крови“<sup>11)</sup>. Вторая статья была пронизана этими новыми для критика идеями, явилась популяризацией этих идей. Именно так ее воспринял консервативный по своим политическим убеждениям старик Бакунин, который в молодые годы служил в министерстве иностранных дел, был с 1783 года прикомандирован в качестве переводчика к посольству в Турине, Флоренции и Неаполе, где прослужил до 1797 года. Период диктатуры якобинцев и террора он вспоминал как момент, определивший перелом в его мировоззрении в сторону реакционных взглядов. При чтении статьи произошло первое столкновение „неистового Виссариона“, страстного спорщика, не умевшего и не желавшего в угоду кому бы то ни было отступать от своих убеждений, со старым хозяином Прямухина. А. М. Бакунин дал понять Белинскому, что взгляды, положенные в основу статьи, для него неприятны.

Столкновения фихтеанца Белинского с консервативным А. М. Бакуниным на этом не закончились. Свои новые убеждения со свойственной ему горячностью Виссарион Григорьевич всячески стремился популяризировать среди молодежи, посещавшей Прямухино. Он пытался привлечь в ряды своих единомышленников Вульфа, Дьякова и других молодых людей. Отсюда и пошла слава о Белинском как о философе, оказывающем вредное (читай: революционное) влияние на Михаила. В помещичьих имениях Новоторжского уезда о Белинском заговорили, как о вредном человеке. Такого же мнения о нем был и сам престарелый владелец Прямухина.

„... Ведь вы отвергаете истину дружбы, связывающей нас с Виссарионом Григорьевичем,—писал Михаил Бакунин отцу 15 декабря 1837 года,—потому что вы полагаете, что он учит меня не доброму, а худому“<sup>12)</sup>.

Несомненно, что обо всем этом знал и Белинский.

„Я в первый приезд в Прямухино,—вспоминал он в письме Михаилу Бакунину 10 сентября 1838 года,—обратил на себя внимание всех и каждого и сделался в ваших краях притчею во языцех, пошли толки, что я тебя порчу, что мы философы и пр. и пр.“<sup>13)</sup>.

Особенно много кривотолков вызвали недомолвки, к сожалению, до нас слова „неистового Виссариона“, сказанные им однажды во время обеда и воспринятые А. М. Бакуниным как революционные. Татьяна Александровна Бакунина писала по этому поводу братьям, что Белинский „никогда не умеет себя сдерживать. Два или три раза он забывался и говорил вещи чересчур сильные, которые дали папеньке совершенно ложный взгляд на его характер“<sup>14)</sup>. Вспоминая два года спустя свои

стычки со стариком Бакуниным, Виссарион Григорьевич, для которого в то время фихтеанство стало уже одним из моментов его прошлой духовной жизни, не раскаивался в этих стычках, считая, что они явились добросовестным выражением его тогдашних взглядов. Этими мыслями Белинский поделился в письме с М. А. Бакуниным:

„Ты помнишь, какую фразу отпустил я за столом и как подействовала она на Александра Михайловича; но знаешь ли что?—Я нисколько не раскаиваюсь в этой фразе и нисколько не смущаюсь воспоминанием о ней: ею выразил совершенно добросовестно и со всею полнотою моей неистовой натуры тогдашнее состояние моего духа“<sup>15)</sup>.

Трудно сказать, как бы долго прожил Белинский в Прямухине, но знаменитая телескопская история<sup>16)</sup>, весть о которой была получена здесь 10 ноября, заставила его спешно выехать в Москву. Дело в том, что, будучи предупрежден другом-анонимом (как полагают,—Н. Х. Кетчером), Белинский с минуты на минуту ждал обыска. Не желая подвергать владельцев Прямухины могущим возникнуть в связи с этим неприятностям, он поторопился покинуть поместье. До этого времени намеки Станкевича, звавшего его в Москву к активной журнальной работе, оставались тщетными<sup>17)</sup>. На этот раз отъезд был тем более необходим, что арестованный Надеждин оставил Белинскому все свои редакционные дела.

Как и следовало ожидать, полиция приготовилась к встрече критика. На заставе была организована тщательная слежка. Как только Белинский въехал в Москву, его тут же задержали и под конвоем доставили к обер-полицмейстеру „для отобрания от него бумаг“<sup>18)</sup>. Так закончилось первое, самое длительное, пребывание Белинского в сельце Прямухине, оставившее у критика, несмотря на неприятности, о которых говорилось выше, самое хорошее воспоминание. Об этих днях, прожитых у Бакуниных, Белинский часто отзывался, как о лучшем периоде своей жизни.

... „Эти три месяца 36 года, все до одного дня и часа, хотя они и были для меня адом, но и теперь от одного воспоминания о них — я чувствую веяние рая. Что делать? — Такова натура человека: есть — проклинает, было — жалеет, зачем не есть“<sup>19)</sup>.

Когда сестры Бакунины в письме назвали воспоминания о днях, проведенных с Белинским, приятными, он ответил, что если для них это был „довольно приятный случай в цепи приятных случаев, из которых состоит вся жизнь их, то могу ли я не вспоминать о приятном времени, проведенном мною с ними, времени, которое представляется мне цветущим оазисом на бесплодной степи моей жизни?“<sup>20)</sup>. Белинский мечтал снова попасть в Прямухино, добивался этой поездки, но неотложные дела по журналу приковывали его к месту.

„В иные минуты,—сообщал он М. А. Бакунину 15 октября 1837 года,—я чувствую какие-то сильные порывы пойти, или поехать, или перескочить одним прыжком в Прямухино...“<sup>21)</sup>.

Очевидно, со слов самого критика Михаил Александрович писал своим сестрам 8 декабря 1836 года о посещении Прямухина Белинским и его спутником Ефремовым:

„Посещение Прямухина было благодетельным для них обоих, оно придало им силы и веры в жизнь“<sup>22</sup>).

В том же смысле неоднократно высказывался и Белинский.

## II

Для Белинского наступили годы тяжелой нужды и непосильного труда. Труд ради заработка мешал ему осуществить мечту о новой поездке к Бакуниным, в их поместье. И едва ли состоялась бы поездка, если б несчастье в этой семье не заставило критика забыть о своих невзгодах, чтобы помочь друзьям.

13 июня 1838 года тяжело заболела Любовь Александровна Бакунина. У нее был туберкулез, который осложнился расстройством сердечной деятельности и водянкой. Местные врачи—Цирг и другие—были бессильны поставить точный диагноз. Семейный совет решил, что единственным врачом, способным оказать помощь заболевшей, является П. П. Ключников.

Узнав из письма Михаила Александровича о болезни его сестры, Белинский тотчас послал доктору Ключникову письмо, умоляя его немедленно выехать в Прямухино для спасения больной. В конце июня или в первых числах июля он сам, бросив редакционную работу, едет в г. Венев, Тульской губернии, чтобы уговорить Ключникова, состоявшего там на службе, поехать к Бакуниным. Миссия увенчалась успехом. С вестью о согласии Ключникова Белинский отправился в Прямухино, где прожил с 5 по 15 июля. При нем приехал в имение и долгожданный доктор.

И на этот раз, как и в первую поездку в Прямухино, Белинский гулял в парке, бродил, восхищенный, по живописным окрестностям поместья.

„Я видел ваш дух во всем и везде,—писал он 1 августа 1838 года старику-владельцу Прямухина,—и в этом простом и прекрасном саду, с его аллеями, дорожками и лугами, его величественными, огромными деревьями, его прозрачными бассейнами и ручьями, и в этой простой и прекрасной церкви..., и в тишине этого мирного сельского кладбища, с его поэтической полуразвалившейся часовнею и унылыми елками, и во всем этом рае, который создала ваша живая и возвышенная любовь к природе, и который вы назвали Прямухиным“<sup>23</sup>).

В эти десять дней вместе с кружком прямухинской молодежи Белинский ездил в Торжок, гулял по его овечьим поэзией старины улицам. И, очевидно, именно в эту поездку посетил в сельце Коноплино, Старицкого уезда, писателя И. И. Лажечникова, с которым был знаком раньше.

Тепло простились Бакунины с Белинским, когда он 15 июля выехал в Москву. Он увез с собою большой букет полевых цветов, преподнесенный ему сестрами Бакуниными. Но невестел был Белинский: жизнь Любови Александровны была под угрозой...

„Букет довез в жалком положении,—сообщал Виссарион Григорьевич в конце июля М. А. Бакунину,—и так как я сам был в жалком положении и физически и нравственно, то только в субботу вечером (16 июля.—Н. Ж.) вспомнил, что их надо посадить в воду. Опавшие листья с благоговением собрал и завернул в бумагу, чтобы предать всесожжению. Опавшие цветки розы и мака разложил по книгам. Но букет, как ни завял, а некоторые цветы ожили, особенно гвоздики, которые и теперь—как сейчас сорваны, желтые все воскресли, а синие все завяли, но чеснок, данный мне Александрой Александровной, здравствует, а какое-то колючее растение с синими цветочками, данное мне ею же, завяло совсем. Каждый день сам переменяю в стакане воду и грустно иногда люблюсь букетом. Когда он совсем завянет, разложу его по книгам, и ни на один листок его не ступит ничья нога“<sup>24</sup>).

Букет напоминал о Прямухине, о чудесном парке, о прекрасных лужайках на берегах Осуги, об окрестных лесах и рощах. Он напоминал о людях, к которым великий критик проникся глубоким уважением и привязанностью, о той, которая попрежнему являлась предметом его особенной любви...

А между тем болезнь Любоми Александровны все развивалась. Мучил сильный кашель, отнялись ноги. 6 августа Любоми Александровны не стало. Весть о ее смерти потрясла Белинского.

„Умерла“,—вскричал я, бросив твое письмо из Прямухина: „Она умерла“,—повторил я“<sup>25</sup>).

Все помыслы критика были обращены в эти дни к Бакуনিным. Воспоминания об умершей не сходили со страниц его писем.

„Друг, я ничего не могу делать, как только думать о ней, или писать к тебе,—жаловался Белинский в очередном письме к Михаилу.—Душа рвется к тебе, к вам. Ведь я твой, ваш, родной всем вам?—Да, теперь я узнал это очень ясно. Ваша потеря—моя потеря“<sup>26</sup>).

### III

Смертью Любоми Александровны и второй поездкой в Прямухино завершается первый период во взаимоотношениях Белинского и Бакунина. Этот период, несмотря ни на что, мы назвали бы периодом их дружбы. Белинский многим был обязан своему другу. Хотя к моменту их знакомства он был уже известным критиком, по его мировоззрение складывалось под заметным влиянием Бакунина. Мы знаем, что Бакунин познакомил критика с философией Фихте. Позднее он же познакомил его и с философией Гегеля (правда, через свое восприятие).

„Я любил тебя искренне,—писал Виссарион Григорьевич Бакунину в ноябре 1837 года,—любил тебя для самого тебя, любил за то, что одолжен тебе моим развитием столько же почти, как Станкевичу...“<sup>27</sup>).

Но весной 1838 года между друзьями начались трения. Отношения испортились окончательно после перехода к кружку Станкевича журнала „Московский наблюдатель“. Станкевича в России тогда не было, и Бакунин претендовал на руководящую

роль в журнале. Однако фактическое руководство „Московским наблюдателем“ находилось в руках более талантливого и опытного литератора Белинского. Недовольный Бакунин повел агитацию среди членов кружка против Белинского. В жарких спорах Белинский не всегда занимал правильную позицию. Но все же споры эти помогли ему в значительной мере высвободиться из-под влияния дворянской культуры. Борьба перешла и на идейную почву, что было вызвано стремлением критика-демократа выработать самостоятельное мировоззрение. В разгар борьбы Белинский писал 8 ноября 1838 года:

„Он (Бакунин.—*Н. Ж.*) с удивлением увидел, что во мне самостоятельность, сила, и что на мне верхом ездить опасно—сшибу, да еще копытом лягну. Началась борьба перепискою. Он был изранен, выслушал горькие истины, выраженные энергическим языком. Примирился. После этого-то я был в Прямухине (речь идет о второй поездке.—*Н. Ж.*). После опять война“<sup>28</sup>).

Теперь в этой „войне“ возник новый вопрос, вокруг которого особенно разгорелись страсти. Доктор Ключников, лечивший Любовь Александровну, был неприятно поражен взвинченностью и какою-то неестественностью в поведении сестер Бакуниных. Не без основания он приписал эти свойства влиянию мистикорелигиозной проповеди Михаила Александровича. С этим взглядом Ключникова в основном согласился и Белинский. Вот из-за чего, как разъяснял М. А. Бакунин братьям 11 октября 1838 года, началась „жестокая война с Виссарионом Григорьевичем, который, собрав все свои силы, напал не только на меня, но даже и на наших милых и прекрасных сестриц. Меня обвиняет в том, что во мне нет ни жизни, ни горячей крови, этого необходимого условия всякой жизни; говорит, что я—не более как сухая, холодная, логическая отвлеченность, и что моя мысль, замораживающая всякое чувство, распространила свое пагубное влияние и на сестер, которые, оставивши гармоническую сферу женщины, кинулись в чуждую им область мысли и сделались вследствие этого гордыми, холодными, человеконенавидящими“<sup>29</sup>).

Столкновение закончилось ссорой, после которой отношения стали уже не дружескими, а „обычными приятельскими, холодными и корректными“. Переписка сократилась, да и письма перестали носить прежний задушевный характер. В посещениях Прямухина наступил значительный перерыв. Этому способствовало еще одно обстоятельство. Именно в это время Белинскому стала известна история неудачного увлечения В. Боткина А. А. Бакуниной. Об их романе, державшемся в тайне, узнали родители, и отец Александры Александровны написал Боткину письмо, в котором дал понять, что возражает против брака, так как Боткины были выходцами из недворянской среды.

„Кровь кипит от негодования,—возмущался по этому поводу демократ Белинский,—так и хлопнул бы по дворянским физиономиям плебейским кулаком“<sup>30</sup>).

Но эти слова относились, главным образом, к представителям старшего поколения. С прямухинской молодежью у Белин-



ского оставались самые дружественные отношения. Вот почему в этом искреннем протесте против дворянской спеси мы готовы видеть результат идейной борьбы, о которой говорилось выше; видеть доказательство того, что в этой борьбе у критика оформилась и окрепла идеология разночинца, плебейская идеология, если пользоваться его собственным выражением.

С сестрами Бакуниными Белинский состоял попрежнему в дружеской переписке.

„Позвольте... напомнить вам о старом знакомом,—писал он им в конце 1839 или в начале 1840 года,—который так много вас любит и так часто о вас вспоминает, или, лучше сказать, у которого в памяти, после вас, кроме еще Боткина, да нескольких хороших и добрых людей, нет ничего хорошего и дорогого“<sup>31</sup>).

К этому же времени относится дружба Белинского с Николаем Александровичем Бакуниным. Последний неоднократно звал Белинского в Прямухино. Беседы о Прямухине, воспоминания о днях, проведенных здесь раньше, влекли сюда великого критика. О своем знакомстве с Николаем Александровичем и о беседах с ним Белинский писал Боткину:

„Я говорю с ним о Прямухине и о всем принадлежащем к нему: в душе возникают образы, прошедшее оживает—и душе и больно, и сладостно... Нет, чорт возьми, и мне жизнь дала кое-что: кто знал их, тот не напрасно жил“<sup>32</sup>).

В письме к Н. А. Бакунину, 6—8 апреля 1841 года, Белинский снова вспоминает о сестрах Бакуниных:

„Кланяйтесь от меня вашим сестрам. Память о них для меня всегда свята: с воспоминанием о них связано мое болезненное, страдательное развитие. Все худое (в котором я один виноват) как-то убродилось, хотя иногда змейка воспоминания и больно еще жалит истерзанное сердце; все хорошее (а и его было много) благодатною росой освежает мертвую душу. Это бывает редко, но зато минуты эти для меня отрадны, ибо я могу тогда страдать. Да, несмотря на все, память о них переживет во мне все и умрет последняя“<sup>33</sup>).

И Николай Бакунин, и его сестры не раз приглашали Белинского снова навестить Прямухино. Много раз он собирался в дорогу, радуясь скорому свиданию. Но всегда неотложные дела заставляли откладывать поездку. В конце 1841 года, собираясь посетить старых друзей, Белинский писал:

„Да, мы скоро увидимся—эта мысль так сладостно потрясает мое сердце, и я с такою любовью лелею ее в душе моей. Я еду к родным, еду к своим, забытья дня на два от мучений жизни, отдохнуть усталою душою, снова увидеть так давно милые душе образы, которые иногда видятся мне сквозь житейский туман, словно ангельские лики в облаках. О, мой милый Николай Александрович! Зачем глупые условия общества и моя робость не позволят мне взять их руки и, крепко сжав их в своей, сказать им, как глубоко, как нежно, как братски люблю я их, и с каким бы блаженством благословил я их на радость и счастье“<sup>34</sup>).

Получив известие о болезни Татьяны Александровны, Белинский беспокоится о ней, справляется о состоянии ее здоровья.

„Вот еще жертва—да какая!“<sup>35)</sup>—сокрушается он в письме к В. Боткину. Когда из-за границы до него дошли сведения о Михаиле Александровиче, он поспешил поделиться ими с Бакуниными, которых назвал при этом своими прямухинскими друзьями.

В 1842 году Н. А. Бакунин женился на дочери соседа по имению—Ушакова. В Прямухино на свадьбу съехалось много молодежи. За исключением Михаила, собрались все члены семейства Бакуниных. Вспомнили и о Виссарионе Григорьевиче, которому также было послано приглашение приехать, хотя бы на короткий срок.

„Меня зовут,—писал Белинский 23 ноября 1842 года Боткину,—так и подмывает—дурь и блажь одолела такая, что мочи нет... Да, ехать, ехать—это заглушает во мне все другое,—я расплываюсь—мечтаю, ничто в голову нейдет“<sup>36)</sup>.

„Если не приеду, то уже, конечно, не по лености, не по равнодушию, не по боязни беспокойств и мук дороги,—заверяет он Н. А. Бакунина в письме от 28 ноября.—Признаюсь, крепко подмывает. Получив ваше письмо, дня два или три ничего делать не мог, а дела была бездна. Меня посетило вдруг, словно вдохновенье, такое живое воспоминание о счастливых минутах, проведенных мною прошлые года в Торжке, что мне опротивело все, что я ни видел вокруг себя, и если б я мог ехать в ту же минуту—никакой паровоз не удовлетворил бы полету души моей... Боже мой! Какая бы для меня была радость приехать в Прямухино! Увидеть всех вас, и счастливых притом,—увидеть Варвару Александровну, которую я так давно не видал...“

Одна мысль—я в Прямухине—господи, хоть бы во сне увидеть! Этот дом, комнаты, все, все—просто, страшно ехать: поедешь на три дня, а проживешь, пожалуй, три недели, а ведь, „Отечественные записки“<sup>37)</sup> не любят ждать своих водовозных лошадей“<sup>38)</sup>.

Страстное влечение к Прямухину, к его гостеприимным обитателям взяло верх над всеми другими соображениями. Правда, утомленный непосильной работой критик не мог долго оставаться в кругу своих деревенских друзей. Дела журнала звали его обратно. Вспоминая об этой поездке, Виссарион Григорьевич писал:

„Кроме того, что я вас всех так люблю, что минуты, проведенные мною год назад в Прямухине, были для меня каким-то блаженным сном—кроме всего этого, возьмите в соображение мою петербургскую жизнь. Я недавно писал к Мишелю (в Берлин), что я представляю собою маленького Прометея в карикатуре: толстые „Отечественные записки“—моя скала, к которой я прикован, Краевский—мой коршун, который терзает мою грудь, как скоро она немного подживает“<sup>39)</sup>.

В 1843 году Белинский собирался ехать в Москву по делам журнала. Дорога предстояла через Торжок. Имение Бакуниных было невдалеке от этого города, в котором Белинский намеревался остановиться. Он решил воспользоваться случаем и посетить своих прямухинских приятелей.

„Мысль о поездке в Прямухино, — сообщал он тогда же, — представлялась мне, как награда, не за добродетели мои, которыми не могу похвалиться, а за мои нестерпимые страдания, за скуку, апатию, заботы, тяжелый труд, лишения и горе целого года. Желание ехать во мне было так сильно, так порывисто, что я не смел расчесть вероятностей на поездку, боясь убедиться в невозможности, — и когда затаенное и сдерживаемое сознание этой невозможности начало уже душиить и рвать меня, — я все тешил себя какою-то пьяною и безумною надеждою. Наконец, я убедился, что нечего и думать — надо отложить на неопределенное время. Тогда овладело мною такое холодное, сухое отчаяние, что я отгонял от себя, душил в себе всякую мысль о Прямухине“<sup>40</sup>).

Однако поездка в Прямухино все же состоялась. Но это был последний визит великого критика в новоторжскую деревню Бакуниных. В месяцеслове за 1843 год на вставном чистом листе бумаги, среди памятных дат о гостях и хозяйственных распоряжений по Прямухину, мы обнаружили короткую заметку:

„В пятницу 4 июня приехал Белинской“<sup>41</sup>).

Великий критик пробыл в Прямухине неделю. Собирался еще раз заехать на обратном пути из Москвы. Но необходимость срочного возвращения в редакцию журнала заставила его распрощаться со своими молодыми друзьями на почтовой станции в Торжке, не заехав на этот раз в Прямухино.

#### IV

Пребывание в Прямухине, дружба с семейством Бакуниных сыграли большую роль в литературной деятельности великого русского критика. Мы уже знаем, что Михаил Бакунин был одним из философских наставников Белинского, что его влияние долгое время налагало отпечаток на творчество Виссариона Григорьевича. Непосредственно с поездками в Прямухино связан ряд литературных работ Белинского. Мы имеем в виду не только те произведения, которые были написаны в Прямухине, а и те, которые возникли в связи с поездками туда. Из последних отметим пьесу „Пятидесятилетний дядюшка, или странная болезнь“, написанную Белинским год спустя после первого посещения Прямухина и появившуюся в 1839 году в журнале „Московский наблюдатель“. На сцене пьеса ставилась 27 января 1839 года, в бенефис великого русского артиста Щепкина. Задумана и написана она была под влиянием неудавшегося романа Белинского с Александрой Александровной Бакуниной. „Из своей печальной любовной истории Белинский внес в драму горечь неразделенной любви и желание полного счастья любимой женщине“<sup>42</sup>).

Пьеса оказалась неудачной, хотя в свое время пользовалась некоторым успехом. В широких читательских кругах она давно забыта. Но в творческой жизни Белинского пьеса сыграла значительную роль. Это была проба сил, лишняя раз убедившая Виссариона Григорьевича в том, что его призвание — литературная критика, которой он и посвятил в дальнейшем все силы своего блестящего дарования.

---

## В ПОИСКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ (О ЛАЖЕЧНИКОВЕ)

Среди писателей первой половины XIX столетия<sup>1)</sup>, которых отодвинули на второй план гиганты русской литературы<sup>2)</sup>, Ивану Ивановичу Лажечникову принадлежит одно из видных мест. Еще в пору, когда русская словесность в области художественной прозы представляла лишь бледные ростки романтики и сентиментализма, выступление Лажечникова, „русского Вальтер Скотта“, было заметно и значительно. Он был автором, популярным среди широкой читающей публики, оцененным критикой (Белинский) и в писательской среде (Жуковский, Пушкин); вокруг его романов часто возникала оживленная полемика, и до настоящего времени „Ледяной дом“, „Басурман“, „Последний Новик“ не стоят запыленными томами на полках библиотек.

История литературы в ее объективной, выдержавшей проверку временем, оценке прочно установила за романами Лажечникова одно качество—прогрессивную направленность писателя<sup>3)</sup>. Вот, например, „Басурман“ (1838)—какая это драматичная поучительная история таланта, загубленного в старой, варварской Руси из-за слепой вражды ко всему иноземному, независимо от его значения. Лекарь Антон — жертва воинствующего невежества, типологический образ человека переломных идей, гибнущего в обстановке старорусской косности и реакции. Сколько таких жертв знает наша, да и не только наша, история. „Последний Новик“ (1831—1833)—шаг писателя в том же направлении; это оправдание дела Петра. Полемика западников и славянофилов отошла в область позабытого прошлого. Но гимн Лажечникова в защиту преобразователя, реформатора русской жизни звучит с неослабевающей силой в романе и в какой-то мере созвучен настроенности наших дней. „Ледяной дом“ (1835)—углубление тех же идей. Автор за „басурманство“, „за Петра“, но он патриот, в нем здоровое национальное чувство. Картины издевательств над русским народом, унижения его национального достоинства, оскорблений человеческой личности переданы с потрясающей силой. Один этот роман мог бы составить непреходящую славу автору. В свое время критика вскрыла ряд недостатков писателя. Тем не менее, три романа Лажечникова—три ярких исторических страницы: в них живой художественный показ прошлого, показ ин-

тимных устремлений автора, причем все это дано писателем на уровне лучшей современной ему поэтики. Больше того: несомненный талант автора (не забудем, что Лажечников, как и полагалось людям его круга в николаевское время, был в первую очередь чиновник) пробивал толщу условностей литературных школ своего времени. В его „исторической романтике“, при тщательном изучении писателем исторических материалов, было много прорывов к реализму. „Исторический роман“ обязывал Лажечникова к реальной правде. Это еще более обеспечивало успех романиста и впоследствии определило его литературное значение.

И. И. Лажечников был прочно связан с Тверью. В ней он прожил 22 года: с 5 марта 1831 по 12 мая 1837 года—в должности директора гимназии; несколько лет по выбору дворянства—в качестве ее попечителя, а с 19 января 1843 по октябрь 1853 года—в должности вице-губернатора. Здесь у него были личные родственные связи: в Твери, в Отрочем монастыре, похоронена его первая жена Авдотья Алексеевна Шурупова, в Твери же Иван Иванович женился вторично—на Марье Ивановне Озеровой. В Тверской губернии писатель имел недвижимую собственность—сначала в Старицком уезде (сельцо Коноплино), потом в селе Никольском, Тверского уезда—все это в поисках уголка, который бы удовлетворял „историческому“ вкусу писателя. В Коноплино из Прямухина заезжали к Лажечникову гости от Бакуниных: Боткин, Станкевич, Белинский. Лажечников передает, как в то время все жили Гегелем, как даже любовные послания сочинялись по гегелевской эстетике <sup>4)</sup>. В 1836 году Пушкин, находясь проездом в Твери, шлет с почтовой станции записку Лажечникову, в которой благодарит за книги и извиняется, что не может лично повидаться из-за дорожных условий. В Твери у Лажечникова было много друзей. Иван Иванович сроднился со старинным русским городом, любил тверской край. Сердечные строки о знакомстве с Лажечниковым и его жизни в Твери сообщает Татьяна Пассек в своих „Воспоминаниях“. Вынужденное переселение в Витебск еще более усилило симпатии писателя к Твери.

„Сижу за решеткой в заключении, — писал он 16 апреля 1854 года своему близкому знакомому, А. К. Жизневскому, — и думаю о стране далекой, родной... Вдруг пахнул на грудь мою с той стороны теплый, благодостворенный ветерок...“

И в другом письме (от 31 марта 1855 года): „Вспоминаю о Твери, милой, любимой и незабвенной“. О природе тверских мест Лажечников говорит восторженно: „Кажется, на этой живописной местности река течет игривее, цветы и деревья растут роскошнее, и более тепла, чем в других соседних местностях...“ <sup>5)</sup>.

В Калининском областном архиве имеется ряд „дел“, относящихся к служебной деятельности Лажечникова. Они дают достаточно материала для специальной работы о Лажечникове как педагоге и администраторе. Имеются в архиве и рукописные списки его сочинений. В Твери Иван Иванович написал лучшие свои

романы. „Десятилетие с 1830 г. по 1840 г.,—пишет его биограф, С. А. Венгеров,—представляет собою кульминационный пункт жизни Лажечникова. После „Басурмана“—жизнь под гору“<sup>6)</sup>. Из тверской действительности писатель нередко брал материалы для своих романов: например, образы природы и местное песенное народное творчество в „Опричнике“. Мало этого, тверские впечатления послужили толчком для решения писателем теоретических задач, значение которых актуально даже для современной поэтики. Ряд вопросов художественного творчества, особенно в отношении художественной прозы, Лажечникову приходилось решать заново, за свой риск и страх. Ведь „в области исторического романа,—по справедливому утверждению Венгерова,—Лажечников был одним из первых пионеров“. Наиболее характерно это сказалось на двух произведениях Лажечникова, созданных одно за другим,—на романе „Басурман“ и драме „Опричник“.

„Басурман“ был написан в 1838 году. Он сразу привлек к себе внимание публики и критики. Белинский, восторженно отзывавшись о Лажечникове еще в „Литературных мечтаниях“, в 1839 году посвятил ему специальную статью. В ней великий критик поднял принципиальный вопрос о проблеме „исторического романа“. В духе шеллингианских идей о художнике, творце нового поэтического мира, Белинский высказывался за широкую свободу художника в работе над историческими материалами. „До исторического Волынского нам дела нет,—заявлял он по поводу „Ледяного дома“,—мы пишем не об истории, а о романе. Да будет проклят, кто бы нанес святотатственную руку на искажение Петра Великого и умышленно осмелился бы сделать уродливую карлу из великана человечества; но анахронизмы, искажение событий, вследствие требования ткани и механизма романа,—но только без искажения идеи лица,—могут казаться непозволительными или преступными только вникающему рассудку, а не живому эстетическому чувству. Что же касается до сомнительных или неважных исторических лиц, то и говорить нечего: в произведениях искусства должно искать соблюдения художественной, а не исторической истины“. И дальше: „Кто хочет знать историю, учись ей не по романам и драмам“<sup>7)</sup>. Указывая на отсутствие материалов, с чем должен был столкнуться Лажечников, когда писал „Басурмана“, Белинский спрашивает: „Где литература, где мемуары того времени?.. Остаются летописи—но с ними далеко не уедешь, потому что они факты для истории, а не для романа“<sup>8)</sup>.

Интересно отметить, что в таком же роде высказывался Пушкин в письме к Лажечникову: „Может быть, в художественном отношении,—писал он,—„Ледяной дом“ и выше „Последнего Новика“, но истина историческая в нем не соблюдена, и это современем, когда дело Волынского будет обнародовано, повредит вашему созданию; но поэзия остается всегда поэзией, и многие страницы вашего романа будут жить, доколе не забудется русский язык“ (письмо от 3 ноября 1835 г.).

Против Белинского выступил в „Современнике“ (1839 г.), в статье „Басурман“ Лажечникова“, критик под инициалами „Дм. С. Пр.“ Он отстаивал законность в художественном произведении лишь „документальной“ исторической правды. Писатель, по мнению этого критика, постольку ценен, поскольку прочно придерживается исторической действительности, не допуская отклонений от фактов и документов. „Мы думаем,—писал он,—история должна вмещиваться в самый вымысел, нисколько не отделяясь от него. Рассказ должен, если так можно выразиться, протекать по лугу истории. Пусть читатель, плывя по течению потока, рассматривает берега и окрестности, не останавливаясь, не причаливая к берегам, а тем более не выходя на берег“. При этом автор считал нецелесообразным критиковать слог, язык, манеру писателя, это его природа, здесь он неповинен и неответственен. „Одни требования, с исторической стороны выводимые, справедливы и поучительны“. „Мы желаем,—заканчивал критик свою статью,—чтобы писатель, обрабатывая драматичные картины, более соразмерял душевные движения действующих лиц с характерами их жизни, нежели с своим талантом“.

Когда Лажечников писал „Басурмана“, он не задавался теоретической стороной поднятого вопроса. Он шел путем писателя-художника, претворяющего в своей концепции разные материалы, создающего свой поэтический мир. Перед ним был образец—Вальтер Скотт и те исторические романы, которыми была так богата эпоха романтизма. И писатель живет в мире этих исторических образов, обнаруживая в своих произведениях дарование, „дышащее живою неподдельною теплотою, кипящее благородным жаром, словом, плод искренней, задушевной образованной мысли“,—как выразился о Лажечникове Белинский<sup>9)</sup>.

Вот этот характер искренности, задушевности, вдумчивой образованной мысли сложился у писателя не без значительного влияния на него тверских впечатлений. В „Басурмане“ автор в кругу своей родной истории. Она—центральный политический вопрос романа. Образ Ивана III подан героическим. Недаром он особенно отмечен Белинским. Писатель правильно представил историческую роль Ивана III, как грозного собирателя Руси. О нем он говорит с уважением, с сознанием величайшей исторической необходимости, завещанной тяжелым прошлым. Но рядом с этим открывается другая сторона медали—конец старого вольного города, „Твери старой, Твери богатой“,—как о ней говорится в песнях. Конец тверской независимости изображен Лажечниковым во всей яркости, оттеняемый показом ничтожества последнего тверского князя Михаила (о нем старинная повесть „О псковском взятии“ рассказывает, что он „утек в Литву“). Автор признает историческую неизбежность падения Твери. Прекрасна следующая сцена, набросанная рукою мастера, Иван III в домашней обстановке. С ним дворецкий. Беседуют.

„Произнеся последнее слово, великий князь оперся подбородком на руки, скрещенные на посохе, и погрузился в глубокую думу. Так пробыл он несколько минут, в которые дворецкий не

смел пошевелиться. Нельзя сказать, что в эти минуты тихий ангел налетел; нет, в них пролетел грозный дух брани... Решена судьба Твери, бывшей сильной соперницы Москвы“.

Но, ставя вопрос столь трезво, понимая требования исторической необходимости, вынужденность подчиниться роковым велениям истории, автор осознает также личную драму тех людей, которые стали жертвой этой трагической развязки. Князя Холмского, „родом тверичанина“, знаменитого героя „Шелони“, Иван III вынуждает итти громить родную Тверь. Холмский категорически отказывается. Разгневанный князь приказывает схватить Холмского, казнить. На Холмского устраивают облаву, но он счастливо спасается в помещении лекаря, немца Антония, спрятанный им в аптекарском шкафу. А потом, под влиянием друзей Холмского, и сам Иван признает естественным отказ Холмского, прощает его, возвращая доверие и милость.

„И осподарь, его великий князь, *своего слугу пожаловал, нелюбье свое ему отдал*. И тому делу был навсегда погреб (совершенное забвение). Впоследствии великий князь отдал дочь свою за сына Холмского“.

Так автор готов склонить голову перед исторической неизбежностью, но он гордо поднимает ее в сознании, в ощущении „своей“ правды. Как видим, Лажечников затрагивает глубокие психологические конфликты, что лишний раз говорит в пользу его, как вдумчивого художника.

В романе есть еще ряд тем, особенно близких автору, связанных с Тверью. Так, в предисловии к роману особое внимание уделяет писатель заточенному в золотой темнице княжичу Дмитрию Ивановичу. Известно, что при покорении Твери Иван III поставил тверским князем Ивана Молодого. Совершенно естественно, что и его сын Дмитрий, как последний отпрыск тверских князей, не мог не интересоваться любителем местной истории И. И. Лажечникова.

Другая тема, бывшая близкой сердцу писателя,—это показ образа знаменитого тверского купца Афанасия Никитина, путешественника, оставившего память о своих странствованиях в сочинении „Хождение за три моря“. По историческим документам, Афанасий Никитин после шести лет путешествия, не дойдя до родной Твери, умер в Смоленске. Такой конец не удовлетворял Лажечникова. В его романе Никитин жив и здоров и в качестве странника, старика Афони, ведет чудесный рассказ о далеких заморских странах. Для писателя был важен не сам письменный документ „хождение“, а то живое, творческое, идейное содержание, которое заключалось в этом документе и которое писатель символически воплотил в образе живого человека—Афанасия Никитина.

Стиль романа носит на себе следы местного колорита, как раз в духе замечаний Белинского о „задушевности и теплоте поэтического дарования“. Для подтверждения этого достаточно остановиться хотя бы на следующей странице романа:



„Кто посещал Жолтиков монастырь по дороге, провожающей Тьмаку, останавливался, конечно, не раз полюбоваться ее живописными излучинами. Вас не поразят здесь дикие, величественные виды, напоминающие поэтический мятеж стихий в один из ужасных переворотов мира; вы не увидите здесь грозных утесов, этих ступеней, по которым шли титаны на брань с небом и с которых пали, разбросав в неравном бою обломки своих оружий, донны пугающие воображение; вы не увидите на следах потопа, остывших, когда он стекал с остова земли, векового дуба, этого Оссиана лесов, воспевающего в час бури победу неба над землей... Нет, вас не поразят эти дикие, величественные картины. Скромная речка, будто не смеющая разыграться, смиренный лепет вод ее, мельница, тихо говорящая, берега, которые возвращаются к дороге, лишь только, забывшись немного, убежали от нее, лужок, притаившийся в кустах, темный бор, который то вздыхает, как отшельник по небу, то шепчет словно молитву про себя, то затянет томный сладкозвучный мотив, будто псалмопевец, в глубокой думе перебирающий золотыми струнами своих гуслей...

Вот здесь-то, у самой дороги, провожающей речку Тьмаку, стояла во время, которое описываем, небольшая мельница (на том самом месте, где и ныне стоит она). Колеса молчали: тверичанам и окружным черным людям, занятым военной тревогою, было не до житейских забот—не до молотья муки, когда в жерновах судьбы выделялась участь целого княжества“...

Этот уголок Твери вступает как органический реальный компонент в художественную ткань повествования. Причем живописное контрастное изображение в духе старой романтики прекрасно оттеняет реалистическую установку автора.

Остановимся на другом произведении писателя—драме „Опричник“, также тверского происхождения. На этот раз теоретическая задача, которую решал Лажечников в „Басурмане“ в духе идей Белинского, в драме „Опричник“ представлена им как будто в виде „обратной теоремы“. Сюжет драмы приурочен к истории „опричнины“ Грозного. Бояре Морозов и Жемчужный, связанные дружбой и услугами, сговорились поженить детей, когда они вырастут. Морозов умер, а когда пришло время влюбленным, молодому Морозову и Наталье, дочери Жемчужного, вступить в брак, Жемчужный, в виду изменившихся обстоятельств, предпочел сосватать ее старому боярину Митькову, захватив при этом все имение Морозовых. В отчаянии Морозов выступает в „опричну“. Центральный вопрос и интерес автора—опричнина. Он ее кровный враг. В сильных выражениях рисует автор разнузданный мир опричников с их грабежами, издевательствами над мирными жителями, всякими насилиями под покровительством самого Грозного.

Молодой Морозов, честный, нравственно порядочный, переживает тяжелую драму, попав в обстановку Александровской слободы, в мир „кромешников“. В конце-концов он не выдерживает клятвы отречения от мира во имя опричнины и, к удив-

лению царя, предпочитает лично заколоть невесту, чем отдать ее на поругание. Опричнина—вот предмет поэтического протеста возмущенного автора. Он рисует атмосферу всеобщей к ней враждебности. Когда узнают, что Андрей Морозов поступил в опричнину: „В опричну! Морозов! Сын друга моего“...—воскликает даже Митьков, его соперник. Мальчишки на улице по адресу матери Андрея кричат: „Опричница!“ Соседки: „Опричница, пожалуй, взгляни на нас“. Общее у бояр желание—„спасти Морозова“. Некоторые проявляют своего рода героизм, обращаясь к царю с просьбой освободить Морозова от клятвы, отпустить...

И рядом с этим—идеализация бояр. В противоположность опричнине, боярский мир, в освещении писателя, полон благородства, нравственной высоты. Даже Жемчужный и Митьков, которые столкнулись в общем корыстном деле, и те под конец наделяются благородными чертами. Митьков, узнав, что он виновник ухода Морозова в опричнину, отказывается от невесты, выражает сожаление о своем поступке и сам едет к царю с просьбой об освобождении Морозова от клятвы.

М и т ь к о в: „Что бы ни стало, казны моей  
или головы, спасем его и не допустим,  
чтоб именитого боярина сын честный  
в позорный плен кремешников попал.  
Нет, этот грех не ляжет на душе  
моей. Я от невесты отступаюсь.  
Едем сейчас же в слободу и на пороге  
кремешной тьмы заставим ему путь“.

Симпатии автора на стороне бояр; он их идеолог и защитник. Все это открывает новую страницу в творчестве Лажечникова, противоположную той, которую мы видели в „Басурмане“. Автор как будто учел поучения критика „Дм. С. Пр.“ о том, каков должен быть „исторический писатель“. Он здесь оказался носителем „исторической правды“, запечатленной в документах. Драма „Опричник“ целиком разработана по „Истории государства Российского“ Н. М. Карамзина. На рукописи „Опричника“, хранящейся в Калининском областном архиве, имеется пометка: „Все, что сказано в этой тетради об Опричнике и наклонностях Грозного, можно найти в истории Карамзина“. Печатный текст драмы в издании С. А. Венгерова (1902 г.) имеет еще более яркие указания: целый ряд страниц пьесы сопровождается ссылками на дословные заимствования из Карамзина. Но дело даже не в заимствованиях, а в том, что точка зрения автора на опричнину, на боярство—типичная карамзинская. Опричники — изверги, злодеи, убийцы. Так Курбский в свое время характеризовал „ласкателей трапезы“ Грозного. Эти взгляды и им подобные усвоены Карамзиным; они положены в основу его представления об эпохе Грозного. Современная историческая критика в корне пересмотрела эту долго господствовавшую неправильную концепцию. Говоря о действиях опричнины против бояр, краткий учебник истории СССР прибав-

ляет: „Таким путем укреплял Иван Грозный самодержавную власть в русском царстве, уничтожая боярские преимущества. Этим он как бы заканчивал начатое Калитой собирание разрозненных удельных княжеств в одно сильное государство“. Точка зрения Карамзина—явно боярская, столь естественная для писателя, каким он был. Во власти его субъективной „правды“ оказался и Лажечников. Что же сказалось здесь? Почему Лажечников так последовательно, прямолинейно проводит в своей драме карамзинские взгляды? Либеральная ли позиция автора-прогрессиста, для которого органически неприемлем был исторический образ угнетателей-„кромешников“, тому была причиной? Припомним, что еще в первом своем сочинении „Походные записки русского офицера“ Лажечников резко выступает против крепостнического гнета. Быть может, здесь сказалась ненависть к разнузданной жандармерии николаевского времени, которая с 1826 года, в лице третьего отделения, стала своеобразной опричниной? Можно лишь с уверенностью сказать: симпатии и антипатии автора питались живыми местными впечатлениями. „Опричник“ писался по Карамзину, но вдохновлялся переживаниями из окружающей и личной жизни писателя. Пьеса не имела особого успеха ни на сцене, ни в читательском мире, и сейчас она мало кому известна. Тенденция, навязчивая, бедная идейным содержанием, заглушила художественное своеобразие произведения. Перо автора оказалось связанным взглядами Карамзина. В „Опричнике“ нет той свободы творчества, той задушевной искренности мысли, о которой говорил Белинский. Отдельные сцены драматичны: герои-бояре полны самоотверженности и подвига, Грозный и опричники неистовы, но все это в духе старой традиционной романтики. Даже язык драмы, несмотря на стихотворный размер и народно-поэтическую стилизацию, лишен колоритности, свойственной повествовательным сочинениям автора. И еще отметим одно важное обстоятельство. С виду пьеса очень прямолинейна и кажется политически заостренной. В то время, когда она появилась в печати (1859 г.), ее могли даже относить к „обличительной“ литературе. Это были годы „Обломова“, добролюбовского „Свистка“, салтыковских „Губернских очерков“. Интересен адрес, который в 1869 году на юбилее писателя (за месяц до его смерти) преподнесли Лажечникову учащие и учащиеся Тверской гимназии. В нем говорится: „С удовольствием (здесь, в Твери) вспоминают литературные вечера, на которых слышали чтение „Опричника“ и других ваших сочинений в то время, когда ваш голос из первых начал обличительно раздаваться в нашей литературе“...<sup>10</sup>).

Однако, по замечанию критики (например, Венгерова), не было сколько-нибудь значительных оснований для того, чтобы приравнять „Опричника“ к „обличительным“ произведениям шестидесятников. Пьеса, и запрещенная, и освобожденная от запрета, не получила широкой известности, оставшись лишь историко-литературным документом.

В Калининском областном архиве имеется рукописный текст „Опричника“, датированный 1844 годом, с надписями, косвенно связанными с памятью писателя. Нужно думать, что рукопись близка первоначальному тексту, как он вышел из-под пера писателя в 1842 году. Мысличили этот текст с печатным изданием в полном собрании сочинений Лажечникова (издание Венгера, 1902 г.). Печатный текст имеет ряд отступлений от рукописного, — главным образом, сокращений. Из существенных отступлений единственное — в судьбе Натальи: в рукописном тексте — ее закалывает сам Морозов, в печатном — она гибнет от ножа опричника. Сокращения коснулись, главным образом, тех страниц, где описывались жестокости и грубость Грозного. Так, в печатном тексте опущены выражения:

- „Грозный: Раздолье душе! Гуляй, как богатырский меч,  
по головам мальчишек юродивых..  
Одни ль они?.. Вся земщина кругом  
изменна, коль не делом, мыслию...  
Бомелий: А он свой лап в своя берлог сосет  
да пьет вина да обнимай красавиц.  
И. Гвоздев (о Грозном): А за труды возьмет-таки кусочек  
сладкий.  
Грозный: Не нужно мне благословенья земских,  
живу досель и под проклятьем вашим.  
Митьков (на угощенье чарой): Не пью из этой чары:  
кровь братьев через край бежит...“

Подводя итоги всему сказанному выше, следует признать, что инстинктивно или сознательно, вслед за Белинским и критиком „Дм. С. Пр.“, Лажечников решал в своем творчестве важную литературную задачу: каким должен быть „исторический писатель“. Тверские впечатления писателя помогают уяснить, как решалась эта задача.

---

## А. Н. ОСТРОВСКИЙ В ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

### I

Знаменитый русский драматург А. Н. Островский не раз и в начале своей писательской деятельности, и в расцвете своей славы приезжал в Тверскую губернию. Долгое время он был связан крепкой дружбой с ржевским жителем Т. И. Филипповым, вместе с которым сотрудничал в „молодой редакции“ журнала „Москвитянин“. Третий Иванович был большим знатоком и прекрасным исполнителем русской народной песни. Многие песни, которые драматург вложил в уста героев своих произведений, он раньше слышал от Филиппова. Ржевские старожилы помнят неоднократные приезды писателя к Филипповым. В Ржеве долгое время жили родные другого писателя, примыкавшего к молодой редакции „Москвитянина“, — Бориса Алмазова, писавшего под псевдонимами Адамантова и Эраста Благодорова. С членами этих двух семейств Александр Николаевич был знаком еще до первого приезда в Тверскую губернию и не порывал знакомства и впоследствии.

Впервые Островский побывал в Твери в 1853 году. Если не считать вскользь оброненных замечаний в дневнике писателя, — об этой поездке почти никаких сведений не сохранилось. Известно, что Островский познакомился тогда с выдающимся деятелем и руководителем тверского либерализма — А. М. Унковским, в то время только что появившимся в Твери в качестве скромного попечителя городской больницы.

В этот же приезд, несмотря на краткость пребывания, писатель успел осмотреть тверские достопримечательности и побывать за городом, где на земле крестьян Рождественской слободы московские фабриканты Каулин и Залогин начинали постройку большой хлопчатобумажной фабрики.

Прошло три года. За это время крепостническая Россия получила удар, от которого так и не смогла оправиться: Крымская кампания, ослабившая царское правительство, и разрастающееся крестьянское движение поставили на очередь вопрос об отмене крепостного права. Правительство „...после поражения в крымской войне увидело полную невозможность сохранения крепостных порядков“ <sup>1)</sup>. Всколыхнулось стоячее болото, новые веяния ворвались в затхлую атмосферу николаевской России. Даже в придворных сферах стал входить в моду либеральный образ мыслей, конечно, без демократических „крайностей“ Чер-

нышевского и Добролюбова, и даже Унковского. Одним из первых проявлений этих новых веяний в руководящих сферах была так называемая литературная экспедиция, предпринятая морским министерством для изучения русских промыслов, связанных с мореходством. Для осуществления этой цели министерство привлекло много выдающихся писателей, между которыми были поделены районы, подлежащие изучению. К услугам писателей были предоставлены страницы реорганизованного „Морского сборника“, который предполагалось поднять до уровня лучших журналов.

Островский, уже зарекомендовавший себя рядом выдающихся произведений, не был приглашен участвовать в экспедиции. Он узнал о ней со значительным опозданием и сам возбудил ходатайство о том, чтобы его приняли в число участников экспедиции. Писатель А. А. Потехин, которому первоначально было поручено изучение быта всего Поволжья, от истоков великой русской реки до ее устья, согласился уступить драматургу Верхнее Поволжье до Нижнего Новгорода. Пригласив в качестве секретаря Гурия Николаевича Бурлакова, 18 апреля 1856 года Островский выехал в Тверь. Начался первый период его работы в качестве участника экспедиции по изучению морских промыслов в Верхнем Поволжье, который закончился в июле того же года. Период этот безусловно оказался наиболее благоприятным и в смысле изучения быта и нравов населения и по влиянию на последующее творчество писателя.

## II

Одним из наиболее трудных вопросов, с которыми столкнулись участники экспедиции, был вопрос о том, как и от кого собирать нужные сведения. Губернская администрация,—а к ней были обязаны в первую очередь обращаться исследователи за необходимыми разъяснениями,—отнеслась к участникам экспедиции с явным недоверием и, кажется, не имела иных намерений, как только помешать, под различными благовидными предлогами, их работе.

„Ничего не увидите, да и нечего здесь смотреть,—таким заявлением встретил Островского престарелый тверской губернатор А. П. Бакунин, пользовавшийся репутацией наиболее либерального среди прочих начальников губерний: —рыболовства здесь нет, да и никогда не было (мы получаем рыбу из Городни и из Кимры), судостроение в жалком состоянии. Я ему сказал,—передает в своем дневнике писатель,—о своем намерении отправиться в Осташков. „Источников Волги искать? не найдете“. Я упомянул про Ржев и Зубцов. „Да, в Зубцове было капитала три, была и значительная стройка судов, а теперь по случаю войны все упало, по всей губернии промышленность упала от войны“<sup>2)</sup>.

Чтобы предупредить Островского от поисков нужных сведений на стороне, среди народа, губернатор поспешил заверить

писателя, что никаким сведениям, кроме идущих от него лично, доверять нельзя.

„Он советовал мне,—записал в дневнике Островский,—обратиться за сведениями в статистический комитет, находящийся при его канцелярии, и еще обратиться к Глазенапу, заведывающему пароходством. На прощанье ласково пожал мне руку и просил за всеми сведениями без церемонии обращаться к нему, а если обращаться к кому-нибудь другому, так меня непременно обманут“<sup>3)</sup>).

Чтобы обеспечить себя материалами из губернских учреждений, Островский не преминул воспользоваться разрешением губернатора. Он довольно коротко познакомился с производителем работ статистического комитета и чиновником особых поручений Н. Колышкиным, бывшим студентом Московского университета, при этом нашел в нем деятельного сотрудника. У Колышкина писатель завязал знакомство с неутомимым исследователем местного края, автором многочисленных работ по истории и экономике Тверской губернии В. А. Преображенским. Бывший семинарист, исключенный духовным начальством из учебного заведения „по безуспешности к продолжению впредь учения“<sup>4)</sup>, Преображенский в это время служил стряпчим в Палате государственных имуществ. От него Островский получил исторические сведения о монастырях, городах и селах. Очевидно, немало он рассказал писателю и о местных реках, и о рыбоводстве, и об экономическом быте населения—обо всем, что знал как кропотливый собиратель самых разнообразных фактов из местной действительности и как коренной житель Тверской губернии.

Не отказался Островский и от встречи с Глазенапом. Этот инженер-капитан из местных помещиков, принадлежавший к кружку передовых, либерально настроенных людей, распорядитель первой пароходной компании на Верхней Волге („Самолет“), познакомил писателя с местным пароходством.

Но Островский не хотел и не мог ограничиться кругом лиц и учреждений, которых ему назвал губернатор. В поисках материалов он обращался к представителям самых различных слоев населения.

Нелегко было тогда добиться откровенности у запуганного начальством человека. Вопросы по экономике губернии многим казались подозрительными.

„Чтобы открыть что-либо новое и интересное,—писал один из участников литературной экспедиции,—нужны особые усилия и излишняя трата времени, часто для того только, чтобы достать „языка“. Русский человек чрезвычайно осторожен и недоверчив: нужно крайнее терпение и особенные приемы, чтобы войти в его доверие“<sup>5)</sup>).

Островский в совершенстве владел искусством расположить к себе русского человека. На другой же день после первой встречи люди вели себя с ним, как старые знакомые. Многие из них помогали ему в работе, даже пренебрегая своими инте-

ресами. Из кого составиллся круг знакомых писателя? Тут были некоторые помещики из числа наиболее прогрессивных. Назовем Унковского, который в это время был уже избран на пост уездного судьи.

„...Человек веселый, открытый и очень умный“<sup>6</sup>).

Так охарактеризовал Островский будущего руководителя тверских либералов. На квартире Унковского он читал избранному кружку новых друзей комедию „Свои люди—сочтемся“. Среди слушателей находился старый знакомый драматурга по Москве—бывший цензор Д. Ржевский, назначенный в Тверь директором гимназии и народных училищ. С первых же шагов своей деятельности Ржевский примкнул к кружку Унковского и не порвал этой дружбы и тогда, когда последний попал в опалу и был отправлен в ссылку. Кроме Ржевского, на читке комедии присутствовали: учитель русского языка Гарусов, по характеристике писателя, — „чудак естественный“, и „человек замечательный, хотя тоже чудак“, —помощник начальника искусственного стола Тверской губернской дорожной и строительной комиссии архитектор Козаков. Среди знакомых Островского были и довольно видные представители чиновного мира, вроде осташковского исправника Станчула, помогшего писателю доехать до истока Волги; зубцовского городничего П. Добровольского, сообщившего исследователю необходимые сведения о своем городе. Однако Островский охотнее пользовался услугами служилой интеллигенции. Из представителей этого круга назовем осташковского уездного врача И. И. Владиславлева, с которым писатель встретился на обеде у купца Савина и который рассказал Островскому о болезнях осташей. Но главными помощниками писателя в его исследовательской работе и в Осташкове, и в Торжке, и в Ржеве были учителя. Учитель Иван Иванович Новоселов—один из первых знакомых Островского в Торжке. Через него познакомился Островский с купцом Елизаровым. Рассказы Новоселова о нищете новоторов произвели глубокое впечатление на драматурга. Смотритель духовного училища в Осташкове Павел Фортунатович Лукин был спутником писателя во время прогулок по городу и его чудесным окрестностям. Без помощи неутомимого Павла Фортунатовича едва ли удалось бы Островскому собрать сведения о первых в России рыбаках, жителях города Осташкова. Такую же роль в Ржеве сыграл учитель Дормидонт Васильевич Никитин.

Особняком среди знакомых Островского стоит колоритная фигура новоторжского винного пристава Дмитрия Алексеевича Развадовского. Это был один из тех неудачников, каких немало насчитывалось в дореформенной России. Он окончил ярославский Демидовский лицей и начал служебную карьеру, подобно многим людям своего круга, армейским юнкером. Вскоре, однако, выяснилось, что он не дворянин и, следовательно, не может стать офицером, его переименовали в унтер-офицеры. А унтер-офицер николаевской службы—это нижний чин... Развадовский вышел в отставку. Начались скитания по



ведомствам и городам, пока в 1854 году не удалось получить должность винного пристава в Торжке. Развадовский был страстный рыболов. Как рыболов-любитель он и попал в число знакомых Островского.

Прекрасный знаток купеческого быта, А. Н. Островский сумел быстро сблизиться со многими представителями купечества в тех городах, через которые лежал его путь, как участника экспедиции. Купцы охотно сообщали писателю нужные сведения и снабжали его такими материалами, какие не рискнули бы сообщить ни одному знакомому чиновнику. В Твери писатель тесно сошелся с охотником и рыболовом Аристархом Степановичем Лавровым, который слыл большим чудачком. Чуждачеством называли купцы его пренебрежение к торговым делам, его враждебность ко многим именитым представителям своего сословия. Впрочем, купцом Лавров был недолго, только четыре года, и снова перешел в тверское мещанство, из рядов которого вышел. Лавров был постоянным спутником Островского во время прогулок по Твери и в поездке до Торжка.

От него писатель получил сведения об охоте. Много рассказывал Лавров и о злоупотреблениях местных властей, особенно городского головы Кобелева, и о скандальной истории с грабежами в Твери, которую начальство всячески скрывало, так как грабители были из солдат батальона внутренней стражи, несшей полицейскую службу по городу, и из местных дворян. В Твери же познакомился драматург с купцом Ворошиловым, державшим в своих руках тверское судостроение и ведущим значительную торговлю хлебом. Ворошилов был главным наставником писателя по баркам и лодкам.

В Торжке, как уже об этом говорилось, учитель Новоселов свел Островского с Ефремом Матвеевичем Елизаровым.

„Законник и собиратель разных древних рукописей о Торжке“<sup>7)</sup>, — отзывался о нем в дневнике Островский.

Елизаров был купцом, вел крупную торговлю, но действительной страстью всей жизни этого незаурядного человека являлось собирание старинных грамот о родном городе. Такой коллекции, как у Елизарова, нигде в губернии не было. У Елизарова познакомился Островский с прошлым Торжка, у него он достал рукопись „Описание гор. Торжку, учиненное по указу царя Михаила Федоровича в 1625 г.“

В Осташкове писателю помогал в собирании материалов хозяин гостиницы И. Д. Кошелев, который сопровождал его в монастырь Нила Столобенского. Сведения о рыболовстве Островский получил от крупнейшего рыбопромышленника губернии Алексея Захаровича Жидкова.

„Вечером, — записал в дневнике 23 мая 1856 года Островский, — были у Жидкова. Он хотя был и пьян, но сообщил нам много полезного“<sup>8)</sup>.

Быть в Осташкове и не повидать купца Савина — в то время считалось признаком дурного тона. Владелец крупного кожевенного завода, пароходства и текстильной фабрики, Савин лю-

бил, чтобы о нем говорили; он не жалел средств на разные затеи, о которых охотно писали газеты и журналы, не забывая при этом расточать хвалы их инициатору. В то время Федор Кондратьевич Савин был городским головой. Разумеется, им были приняты самые энергичные меры, чтобы ничто без его ведома не могло стать достоянием печати. С этим столкнулся Островский, когда думал ознакомиться с делом оставшковского правителя в его отсутствие. Брат последнего до возвращения Федора Кондратьевича отказался дать драматургу интересовавшие его сведения. По возвращении в Осташков сам Федор Кондратьевич поспешил повидаться с выдающимся писателем и приложил все усилия к тому, чтобы расположить к себе необычного гостя. На большом званом обеде, на котором присутствовал губернский предводитель дворянства Озеров и наиболее видные местные чиновники, Островский наблюдал в роли радушного хозяина одного из ярких представителей знатной купеческой династии, на протяжении многих десятков лет державшей в кабале обнищавшее оставшковское мещанство. В своих записях драматург отметил очередную затею Савина—насаждение парка на острове Житном.

В Ржеве большое впечатление на писателя произвел городской голова Евграф Васильевич Берсеньев.

„Прекрасный, умный человек,—писал о нем Островский,—старообрядец в лучшем смысле слова. Рассказывал, как губернатор хотел уничтожить просаки.—Кто же будет платить подати?—спросил Образцов.—Ваши имения будут отвечать,—сказал губернатор“<sup>9)</sup>).

Следует заметить, что Ржев считался тогда крупнейшим центром пенькопрядения. Процесс прядения пеньки происходил на улицах, где для этой цели устраивались просаки. Они затрудняли городское движение. Случалось, что кто-нибудь заедет в просак, да так, что ни вперед, ни назад не проберется. „Попасть в просак“—эта поговорка, повидимому, первоначально возникла в Ржеве. В 1844 году тверской губернатор, а вслед за ним министерство внутренних дел решили уничтожить просаки на улицах Ржева. Было отдано соответствующее распоряжение. Но тогдашний городской голова Образцов, сам владелец прядильни, и тот же Берсеньев стали усиленно добиваться отмены этого распоряжения. В 1851 году дело было решено в их пользу, так как городничий, очевидно, получивший от купцов взятку, дал заключение, что просаки совершенно не мешают уличному движению<sup>10)</sup>.

Другой ржевский купец В. В. Образцов ничего не добавил к рассказам Берсеньева, но зато в разговорах с ним о театре писатель интересно провел время. Образцов был одним из основателей ржевского театра, и, очевидно, беседа шла об этой его затее.

В Ржеве Островский встретился и с людьми, с которыми познакомился раньше через своих московских друзей: с братом Тертия Филиппова—Астерием Ивановичем и сестрой поэта Ал-

мазова—Елизаветой Николаевной Бастамовой. На квартире у Бастамовой Островский читал свои произведения новым и старым знакомым.

„...Были у Лизаветы Николаевны,—пишет он о событиях дня 4 июня,—где читал „Не так живи, как хочется“ и „В чужом пиру похмелѣ“<sup>11)</sup>.

Из других знакомых писателя, у которых он бывал и сведениями которых пользовался, следует назвать В. И. Худякова. В его имение—село Михирево—Островский ездил из Ржева. Семейство Худяковых, людей образованных, причастных к литературе, радушно встретило у себя знаменитого драматурга. Из Ржева ездил Островский и к управляющему имением графа Шереметьева в село Завидово. Здесь он интересовался сплавными работами, на которых работало большинство крестьян огромной Молодотудской вотчины графа.

Среди новых знакомств писателя, завязанных в этот период, особенный интерес представляет встреча Островского с ржевским священником Матвеем Константиновским, который, как известно, оказал пагубное влияние на Н. В. Гоголя. Островского пригласил к себе Константиновский через Е. Н. Бастамову.

„Пойду в собор,—писал Островский в дневнике 6 июня,—и оттуда к отцу Матвею. Что-то будет“<sup>12)</sup>.

Через шесть дней, уже находясь в Твери, писатель сделал запись в дневнике о беседе, которая, как чувствуется, не произвела на него особого впечатления. Это и понятно. Ведь Островский не был склонен к мистицизму.

„В среду (т. е. 6 июня.—*Н. Ж.*) был в соборе у вечерни и оттуда у отца Матвея. Говорил он об усилиях дьявола против него и о раскольниках“<sup>13)</sup>.

Мы предполагаем, что Константиновский рассказывал писателю о своем скандальном процессе по поводу так называемых мощей—„головы преподобного Саввы“, которые он решил открыть в Ржеве без согласия епархиального начальства. Процесс об этой „голове“ тянулся в Тверской духовной консистории с 1854 года и доставил Константиновскому немало неприятностей<sup>14)</sup>. Эти неприятности он, повидимому, и объявил „усилиями дьявола“. Разговор же о старообрядцах безусловно шел вокруг намерения отобрать у них молитвенный дом, о чем Константиновский составлял тогда большую записку, озаглавленную им: „Обстоятельства жителей города Ржева, в религиозном отношении требующие исполнения“. Чтобы добиться своей цели, Константиновский не остановился перед подлогом, состряпав прошение от имени самих старообрядцев о передаче их молельни единоверцам<sup>15)</sup>.

Отметим поездку Островского в село Городню, Тверского уезда, где священник В. В. Крестников, бывший учитель Кашинского духовного училища, рассказал писателю об обычаях местного крестьянства, связанных с празднованием Ильина дня—не работать по пятницам и соблюдать так называемый Ильинский пост<sup>16)</sup>.

Городненский пономарь А. М. Рудаков и дьячок М. П. Ольский „сообщили нам,—пишет Островский, —много хорошего о рыбной ловле“<sup>17)</sup>. Им остался обязан писатель представлением о ловле езами, вятелями, или вершами, и сетями. В рукописи, предназначенной для „Морского сборника“, Островский тщательно вычертил на полях рыболовные снасти городненских рыбаков<sup>18)</sup>.

В селе Кимрах данные о жизни населения и о рыбной ловле драматург получил от местного священника А. И. Никольского. Никольский с 1848 года был избран в сотрудники Географического общества; дважды „за доставление сведений, служащих к определению климата, и этнографических“ получил изъявление „искренней благодарности“ от Общества и даже был назван „одним из подвижников в деле познания России“. Еще больше сведений о рыболовстве получил писатель от пономаря Н. И. Носова, которого он назвал „единственным рыболовом в Кимре“<sup>19)</sup>.

Островский не ограничивался справками, которые получал от либеральных помещиков, купцов и духовенства. Где это было возможно, он прибегал к непосредственным беседам с представителями низших сословий.

В Твери Островский беседовал о рыболовстве со стариком-мещанином. Его рассказы о рыбной ловле в Городне и побуждали драматурга съездить в это древнее селение. По дороге Островский вызвал на разговор своего возницу, который вез его от села Эммаус. Начав с личной жизни, ямщик рассказал писателю о положении ямщиков, как обособленной группы среди государственных крестьян.

„Страшно сделается,—жаловался этот далеко не робкий человек.—Смотрителя боишься. Старосты боишься. Ах! (тут он рза четыре неистово затянулся и сел на козлы)\*<sup>20)</sup>.

Знакомство с устройством барки, с названием ее частей, которое Островский связывает со своей загородной поездкой накануне отъезда из Твери, явилось, по всей видимости, результатом общения писателя с рабочими, занятыми на постройке барок. Знакомство это было очень обстоятельным. В рукописи, предназначенной для „Морского сборника“, Островский собственноручно нарисовал барку и вышневолоцкую (черную) лодку, а также сделал чертежи их деталей<sup>21)</sup>.

В Старице сведения о промыслах горожан и предания об историческом прошлом этого города писатель получил от старика-кузнеца. Островский записал его рассказ конспективно: „Каменоломни.—Предание о Ив. Вас. Грозном“<sup>22)</sup>. Надо полагать, что, рассказывая писателю о каменоломнях, старик подробно описал тяжелую работу, которую производили старицкие мещане и окрестные крестьяне на ломке известняка, или так называемого старицкого мрамора. Что касается предания об Иване Грозном, то оно дошло до нас, записанное Белюстиным, также со слов старика, подобного тому, с каким беседовал Островский.

„Он (т. е. Иван Грозный.—*Н. Ж.*) любил наш город,— рассказывали старики,—много времени проводил в нем, строил в нем церкви и монастыри, Старица при этом царе процветала... О, велик и славен был наш город при Грозном, на семь верст простирался он“ <sup>23</sup>).

В Кимрах хозяин трактира познакомил писателя с состоянием сапожного дела в этом селе, считавшемся одним из крупнейших центров обувного производства в России.

### III

Пребывание Островского в Твери относится к весьма тяжелому периоду истории города. Открытие движения по Петербурго-Московской железной дороге и учреждение в 1854 году пароходства по Верхней Волге повлекло за собой резкое сокращение местной торговли. Тверь, как речная пристань и как станция на шоссейной дороге, утратила былое значение. Сошла на нет торговля хлебом, скотом, салом и железом, которую вело местное купечество. Проезд по шоссе и движение барок по Волге и Тверце пришли в полный упадок. Старые тверские промыслы, которыми жило подавляющее большинство мещан: судостроение, кузнечное дело, вязание чулок и варег, вождение барок и т. д.—находились в самом жалком состоянии. Тверские улицы, где еще недавно жизнь была ключом, где движение не прекращалось даже глубокой ночью, поражали своей мертвой тишиной.

„Теперь,—писал Островский в статье для „Морского сборника“,—на главных улицах в Твери безлюдно и безжизненно, а по уголкам бедные люди... занимаются утомительным безвыгодным трудом...“ <sup>24</sup>).

Таким образом, сравнение Твери с другими русскими городами было в глазах писателя далеко не в пользу этого города. Правда, в центральной своей части Тверь была чище многих городов. Но ведь это—показная сторона, о которой, в своих интересах, прежде всего заботилась губернская администрация.

„Чистота необыкновенная,—отмечал свои впечатления от прогулки по городу Островский.—По всему заметно, что это был коридор между Петербургом и Москвой, который беспрестанно мели и чистили, и по памяти и привычке чистят и метут до сих пор. На всем протяжении Миллионной видна самая строгая деятельность полиции и почти никакой обывательской жизни“ <sup>25</sup>).

Отсутствие уличного движения в Твери, по мнению драматурга, бросалось в глаза сильнее, чем в каком-либо другом русском городе:

„Безжизненнее тверских улиц я не видал во всей Великороссии...“ <sup>26</sup>).

Изучая жизнь тверских мещан, Островский вышел далеко за пределы той программы, которую предложило морское министерство. Он не ограничился описанием промыслов, связанных только с морским делом, и изложением их истории; он взял вопрос гораздо шире. Фактически он нарисовал картину всей

тверской действительности в переходный момент (накануне реформы 1861 года), осветив вопиющую нищету трудящегося люда.

„Первое, — писал Островский, — что поражает наблюдателя в Твери, — это бедность промышленного класса (мещан) и ничтожность заработной платы и выручки... Главный промысел бедных тверских мещан составляет перевозка через Волгу; этой работой занимаются около ста человек. Такого количества перевозчиков для Твери много, и выручка держится только между 15 и 20 коп. серебром в день на человека. Да и эта работа только весной; по сбытию воды наводятся два моста через Волгу и один через Тверцу; тогда ищи рукам какой-нибудь новой работы“<sup>27)</sup>.

Как опытный наблюдатель, Островский увидел проявление нищеты и в том, какими лодками пользовались перевозчики.

„Взгляните только на утлую глиновку (такое название лодки эти получили по имени деревни Глинки, Тверского уезда, где они впервые начали строиться. — *Н. Ж.*), в которой вас повезут за Волгу, и вы ясно убедитесь, что перевозчики — народ бедный, и очень бедный. Глиновки делаются из тесу и так тонко — того гляди, что продавишь ногой, что и бывало“<sup>28)</sup>.

Зимой лодочники переходили на ковку гвоздей. Заволжье и Затверечье являлись центром этого промысла. Когда движение по шоссе было в полном разгаре, тверские гвозди расходились в большом количестве — отчасти дляковки лошадей, отчасти для починки и выделки бричек. Некоторое количество гвоздей шло на строение лодок и барок. Теперь спрос на гвозди резко сократился — в частности, после появления машинных гвоздей, — и они резко упали в цене. Само собой разумеется, что в первую очередь это сказалось на заработке кустарей.

„Зимой перевозчики и весь бедный класс жителей Твери, — отмечал в своем дневнике Островский, — занимаются ковкою гвоздей. Средняя выручка не более полтинника в неделю. Из-за полтинника они спят часа три в сутки: такова бедность мещан в Твери“<sup>29)</sup>.

„Судостроение в Твери, в последнее время, в совершенном упадке“<sup>30)</sup>, — читаем в том же дневнике. Известно, что в 1855 году здесь была выстроена лишь 31 барка, причем на постройке работали всего-навсего 45 местных мещан.

Такова картина промыслов в Твери, как она представилась глазам писателя. Он ясно видел, как бился в поисках заработка трудящийся народ, насколько трудна была его жизнь. Для того чтобы полнее охарактеризовать всю тяжесть положения трудящихся, писатель дает мастерски нарисованную несколькими штрихами картину женских промыслов, которые незадолго до „разорения“ являлись некоторым подспорьем для малоимущих тверитян.

„Женский промысел, — пишет он, — повсеместно распространенный в Твери и почти единственный, — вязанье простых чулков в одну иглу, из самой грубой шерсти. Их вырабатывается весьма большое количество и развозится по ярмаркам; но за-

рабочая плата так ничтожна, что фунт вязаной шерсти и фунт невязаной немногим разнятся в цене<sup>31)</sup>.

Писатель отмечает, что эта работа производится в каждую свободную минуту. Даже идя на базар, женщины берут с собой работу.

Скудные заработки обуславливали скудное питание. Тверские полунищие ремесленники вели полуголодную жизнь. В дневнике Островский записал:

„Самое лакомое кушанье тверских мещан, о котором они мечтают,—жареный в конопляном масле лук. Можете по этому судить о их довольстве“<sup>32)</sup>.

Рассказывая о своих прогулках по Твери, Островский попутно дает яркие описания города, его внешнего облика, быта населения. Тотчас же после приезда в Тверь писатель поспешил на набережную, чтобы посмотреть на разлившуюся Волгу.

„Волга была в полном разливе... Огромное пространство мутной пенистой воды, взволнованной или лучше сказать взъерошенной низовым ветром, все было озарено заходящим солнцем; но как пусто и безжизненно на всем этом безграничном пространстве. Вместо земли, которою глаз наш привык окаймлять воду,—мокрые щепки и грязная пена прибоя лежали полосами по берегам, свидетельствуя о прибыли или убыли воды. Клочки сена и соломы неслись по воде, ни одно судно не оживляло реки, и только черные плашкоуты, приготовленные для моста, виднелись на той стороне. Как-то неприятно смотреть в половодье на воду, холодом веет от нее, и боишься встретить в бешеных волнах или полуразрушенное жилище бедняка, или даже труп его...“<sup>33)</sup>.

На городской набережной, откуда Островский наблюдал разлив Волги и вливающейся в нее Тверцы, в этот день было необычайнолюдно.

„Все лучшее тверское общество гуляло на набережной,—записал 19 апреля 1856 года о своей прогулке писатель.—Много красивых женских лиц, впрочем половина подкрашены. Несколько дам катались в колясках. Офицера три ездили верхом на хороших лошадях, только плохо; двое пьяных офицеров катались в пролетке, непростительно качаясь в разные стороны. Барышни-купчихи одеты по моде, большею частью в бархатных бурнусах, маменьки их в темных салопсах и темных платьях и в яркорозовых платках на голове, заколотых стразовыми булавками, что неприятно режет глаза и совсем нейдет к их сморщенным, старческим лицам, напоминающим ростопчинских бульдогов“<sup>34)</sup>.

На базаре Островский уловил признаки обнищания:

„Торговый день, народу много, но товару немного. Более всего бросаются в глаза немудреные цветы в горшках, бабы с маслом, сморчки очень большого размера и длинные, гнуткие можжевельные удища для наступающей рыбной ловли“<sup>35)</sup>.

За базаром—река Тьмака. Ее берега сплошь усеяны рыболовами.

„Не думайте,—предупреждает писатель,—что это праздная забава свободных людей в праздное время. Нет. При бедности тверских мешан, если мальчик натаскивает в день небольшой кувшинчик уклеики, и то уж в доме подспорье“<sup>36)</sup>.

Внимание Островского и его спутников привлек охотник-рыболов, ловко справлявшийся со своими снастями на маленьком, неустойчивом челноке:

„Он правит одним веслом, выкидывает небольшую сеть, узкую и длинную, собирает ее, выбирает рыбу и бросает в челнок и опять закидывает сеть. Вам страшно за него; при малейшем несоблюдении баланса он опрокинется и с челноком; но не бойтесь, этого не бывает с рыбаком“<sup>37)</sup>.

В Затьмачьи, за городской чертой, Островский побывал в фабричном районе, где он в свой первый приезд осматривал только что заложенную фабрику Каулина и Залогина. Теперь фабрика была уже частично отстроена и пущена в ход.

Из Твери Островский выезжал в село Городню, Тверского уезда. Поездка произвела на драматурга сильное впечатление. Долго любовался он из села прекрасным видом на Волгу.

„Под ногами текла Волга,—читаем в дневнике,—синяя от пасмурной погоды и подернутая рябью; несколько рыбаков, стоя в своих маленьких, вертявых челноках, поднимали баграми верши; сверху шли черные лодки, которые, несмотря на усилия лоцманов и прислуги, находящейся на них, прибывало береговым ветром к противоположному берегу и, наконец, посадило на мель. Легкая, двухвесельная глинкавка, сплошь набитая народом, пристала к берегу, и пассажиры веревочкой потянулись по горе в село подкрепить себя для дальнейшего пути. За рекой зеленел поемный луг, который растянулся ковром вплоть до высокого, темного соснового леса. Справа и слева между кустарниками кое-где блестели изгибы и плесы Волги, по крутым берегам далеко виднелись белые каменные церкви сел. Между селами вам непременно укажут Единоново, замечательное как своею древностью, так и тем, что в нем родилась мать великого князя Михаила Ярославича“<sup>38)</sup>.

Замечание о селе Единонове свидетельствует, что Островскому была известна старинная легенда о возникновении Отроча монастыря. Возможно, что эту легенду ему рассказал Преображенский, опубликовавший ее позднее в „Тверских губернских ведомостях“, хотя не исключена возможность, что ее рассказывали любители старины—с ними всюду заводил знакомство писатель.

В поисках материалов по истории Городни Островский ездил в село Кошелево, вел беседы с крестьянами, внимательно осматривал сохранившиеся памятники минувшего, в частности, городненскую церковь.

„Церковь у нас,—пишет он в статье, посвященной итогам экспедиции,—так стара, говорили мне в Городне крестьяне, что уж ушла в землю. Но она не ушла в землю, а внизу под сводами был устроен храм, на стенах которого еще и теперь видны старинные фрески“<sup>39)</sup>.



Как и в Твери, здесь, в Городне, в центре внимания Островского, как исследователя, стоял вопрос о положении трудящихся масс. Нищета ямщиков в результате резкого уменьшения движения по шоссе, рост эксплуатации рыбаков скупщиками рыбы— вот на чем фиксирует внимание читателя Островский в статье, опубликованной в „Морском сборнике“.

„Мы жители столиц,—пишет он,—и вообразить не можем тех ничтожных цен, по которым покупают рыбу купцы-рыбопромышленники у крестьян-рыболовов... Количество улова и годовой выручки в Городне определить невозможно; верно только то, что прибыль от промысла не превышает издержек на бедные, плохие снаряды, на повинности и вообще на все крестьянские нужды. Только что концы с концами кое-как сходятся“<sup>40</sup>).

В этом старом центре рыбного промысла оставалось только десять рыбаков. На все село не было ни одного невода.

Выезд в Городню должен был дать писателю представление о районах, снабжавших Тверь рыбой. Свое исследование верховьев Волги Островский решил начать с Осташкова, куда он отправился через село Медное, Торжок, Рудниково, Кузнециково, Качаново, Жилино, Крапивно.

Медное—большое торговое село. Здесь на пристани раньше грузился свой караван, доходивший до пятидесяти барок. Население почти сплошь состояло из лоцманов и коноводов. Островский застал в Медном так называемую Никольскую ярмарку, скудность которой явилась для писателя непререкаемым свидетельством обнищания местного и окружающего крестьянства, потерявшего значительный подсобный заработок в связи с упадком лоцманского и коноводческого промыслов.

„Посреди села,—пишет Островский о ярмарке,—стояло несколько небольших палаток. В одних пряники, в других платки и ситцы, „красный товар“ в полном смысле слова; да ящика два с медными и оловянными серьгами, кольцами и разноцветными тесьмами; вот и все“<sup>41</sup>).

В Медном у Островского была небольшая остановка для смены лошадей. Гораздо дольше пробыл писатель в Торжке. Тщательно изучал он летописные сведения и древние рукописи об этом городе. Долго ходил по его живописным улицам, знакомился с городскими достопримечательностями.

„Торжок,—пришел он к заключению,—бесспорно один из красивейших городов Тверской губернии. Расположенный по крутым берегам Тверцы, он представляет много живописных видов. Замечательнее других—вид с левого берега, с бульвара на противоположную сторону на старый город, который возвышается кругом городской площади в виде амфитеатра. Собственно, старый город был на правом берегу: там и соборы, и гостинный двор, и площади, а левый берег обстроился и украсился благодаря петербургскому шоссе. Хорош также вид с правой стороны, с старинного земляного вала. Впрочем лезть туда найдется немного охотников“<sup>42</sup>).

Торжок времен литературной экспедиции был богат промышленностью. Здесь находился центр солодовой промышленности, выделки кож, особенно сафьяновых, и золотошвейного промысла. Однако тень упадка уже легла на все эти производства, и в первую очередь на золотошвейное, которым занимались местные мещане.

„Работа вещей прочна и красива,—пишет о золотошвеях Островский,—но цена, по незначительности требования, невысока: я заплатил за 2 пары туфель, одни из разноцветного сафьяна, другие из бархата, шитые золотом, 3 рубля серебром. Прежде золотошвейное дело процветало в Торжке, в 1848 г. вышивкою туфель и сапогов занималось до 500 мастериц. Теперь эта промышленность совершенно упала, и только в нынешнем году, по случаю коронации, несколько рук успели найти себе работу за хорошую цену до 15 руб. серебром в месяц“<sup>43</sup>).

Проистекавшую отсюда бедность мещан писатель характеризует словами учителя И. И. Новоселова:

„Учитель сказывал мне, — записывает он в дневнике, — что здешние мещане очень богомольны, но говеют через год от бедности. Ужасно“<sup>44</sup>).

Дорога от Торжка до Осташкова пролежала по дикой, почти необитаемой местности. Попадавшие на пути бедные деревушки крепостных крестьян поражали поголовной неграмотностью населения. Из-за высоких оброков и скудных заработков отходничество в этих деревнях приняло такой размер, что в некоторых из них оставались только одни женщины.

„Я не предполагал, чтобы в нескольких верстах от шоссе,—писал Островский,—в середине России, в 60 верстах от Твери, могла существовать такая глушь! Дорога идет местами совершенно безлюдными,—то заросшими кустарником болотами, то голыми холмами, и все это: и дороги, и болота, и поля—усеяно различной величины камнями: точно несколько дней сряду шел каменный дождь“<sup>45</sup>).

В деревнях, где обменивались лошади, не всегда можно было найти грамотного человека, способного прочесть подорожную. Достать что-либо из продовольствия составляло большую трудность, а приготовление, например, яичницы казалось такой премудростью, что за это дело местные крестьянки не брались. В Кузнечикове писатель не застал дома ни одного мужчины. Даже в роли десятского выступала женщина. В дневнике Островский записал дословно разговор с этим десятским:

„А где же ваши мужья?—спросил я у десятского.—Которы ушли у каматесы (каменотесы), а которы дорогу циня (чинят), — отвечала она. Скудность земли заставляет здешних крестьян отходить на целый год на заработки, иначе им негде достать оброка, а недостаток оборотливости и ловкости, недостаток, без сомнения, усиливаемый печальной обстановкой их жизни, запрягает их на веки вечные в тяжелую каменотесную работу“<sup>46</sup>).

После 136-верстной езды по проселочным необъезженным дорогам приезд в Осташков произвел большое впечатление на

писателя, пораженного чудным видом на озеро Селигер, с его утопающими в зелени островами, с его живописными берегами, по которым раскинулись села и сам город Осташков.

„Новые, невиданные картины открылись предо мною,—писал Островский.—На берегу вся увешанная сетями деревня, через пролив Рудинского плеса тянется непрерывная цепь мереж, безгранично протянулось синее озеро с своими островами, вдали колокольни и дома почти утонувшего в воде Осташкова, покрытый дремучим лесом остров Городомля и почти на горизонте, окруженные водой белые стены обители Нила Преподобного“<sup>47)</sup>.

В Осташкове Островский осматривал различные рыболовные снасти и собрал много ценных сведений о рыболовстве, знакомился с трудом местных кузнецов, которые ковали сельскохозяйственные орудия. Ездил в монастырь Нила Столобенского. Отсюда совершил поездку к истокам Волги,—такую поездку, из-за неудобства пути, губернатор считал неосуществимой мечтой. Дорога, действительно, была чрезвычайно трудна. Если не считать небольшого промежутка, когда она совпадала с дорогой к имению осташковского уездного предводителя дворянства князя Шаховского, на всем остальном протяжении не всегда можно было ехать на лошадях. К самым истокам Волги писателю пришлось идти более трех верст пешком по вязкому болоту.

„Из-под упавшей и уже сгнившей березы Волга вытекает едва заметным ручьем. Я нарвал у самого истока цветов на память“<sup>48)</sup>.

Верный своему первоначальному намерению не разлучаться более с Волгой до Нижнего Новгорода, Островский направился из Осташкова через Ельцы на большое торговое село Сытьково. принадлежавшее помещикам Лутковским и Азарьевым, затем на деревни Бочарово и Бахмутово и на Ржев. Город Ржев привлекал внимание Островского как крупнейший пункт выделки пеньковых канатов и пенькопрядения вообще. Разумеется, что и здесь писатель тщательно собирал сведения о судостроении. Осмотрев город, он коротко о нем записывает:

„Ржев поражает высоким местоположением, просаками, костюмом женщин“<sup>49)</sup>.

Из Ржева путь лежал к Зубцову. Еще недавно этот город был центром строения барок. Большие караваны судов сплавлялись отсюда во все ниже лежавшие поволжские пристани. Ко времени приезда Островского судостроение в Зубцове пришло в полный упадок, погрузка барок сошла на-нет.

„Походили по этому несчастному городу. На Вазузе запущенные пристани“<sup>50)</sup>.

В Старице интерес писателя привлекли кузницы, которые он внимательно осматривал. Здесь же он собирал сведения о рыболовстве, о ломке известняка, который исстари вывозился отсюда для постройки церквей и больших домов. В Твери Островский несколько задержался, пополняя свои сведения данными

из губернских учреждений. Съездил отсюда на короткое время в Москву. 30 июня из Твери он направился к Корчеве.

„В Корчеве, — записал он в дневнике, — делать нечего“<sup>51)</sup>. В Кимрах — большом торговом селе — писатель собирал данные о промыслах местных крестьян, в первую очередь, о сапожном деле и рыболовстве. Отсюда вниз по Волге дорога шла на Калязин, где Островский знакомился с рыболовством, жизнью и бытом мещан.

„Рыболовство ничтожное, — пометил он на полях дневника. — Мещане бедны — занимаются на барках“<sup>52)</sup>.

Здесь же от мещан Островский услышал горькую жалобу на житье. „Волга — мачеха“, — говорили мещане, которых жестоко эксплуатировали купцы — владельцы барок и товаровладельцы.

При выезде из Калязина писателя ожидала крупная неприятность, заставившая его надолго отложить дальнейшее изучение Верхнего Поволжья.

„Я отдался совершенно своему делу, — сообщал Островский влиятельному чиновнику морского министерства князю Д. А. Оболенскому, — и достиг уже довольно значительных результатов, но человек предполагает, а бог располагает. При выезде из Калязина лошади взбесились, и тарантас, в котором я ехал, опрокинулся и своею тяжестью расшиб мне ногу. Нельзя было и подумать ехать в Москву. Не только решиться на дальнейшую дорогу — я не мог переносить и малейшего движения. Когда кое-какими средствами в Калязине довели меня до возможности приехать в Москву, хотя и с великими страданиями, уже дело было испорчено“<sup>53)</sup>.

Так закончилось обследование Островским быта поволжского населения, а вместе с тем и вторичное пребывание писателя в Тверской губернии. Несчастный случай помешал Островскому своевременно оформить обильный материал, собранный в губернии, и, следовательно, явился до некоторой степени причиной того, что этот материал полностью так и не был опубликован в печати.

#### IV

Цель поездки Островского по Тверской губернии сводилась, как известно, к тому, чтобы в ряде литературных очерков на страницах „Морского сборника“ рассказать русской читающей публике о положении промыслов, так или иначе связанных с мореходством. С увлечением взялся Островский за выполнение этого задания. Материалы, собранные писателем в короткий срок, изумляют своим обильем и разнообразием.

Одновременно со сбором материалов Островский частично их систематизирует, ведет дневник, куда заносит впечатления о поездке; пишет статьи для „Морского сборника“, которые, к сожалению, ему приходится вскоре отложить до лучшего будущего, чтобы пока направить свое перо на клеветников, открывших против него поход в печати. Мы имеем в виду

травлю, поднятую в свое время некоторыми газетами против Островского по поводу мнимого авторства артиста Горева в комедии „Свои люди—сочтемся“. Драматурга пытались обвинить в плагиате. Друзья не замедлили сообщить писателю о начавшейся против него кампании. В Твери 6 мая он получил номер „Ведомостей московской городской полиции“, в котором фельетонист, под псевдонимом Правдова, злобно клеветал на писателя.

„...Подлецы, — записал в дневнике Островский, — воспользовавшись моим отсутствием, изbleвали новую гадость. Напишу об этом в „Московские ведомости“. Был очень огорчен и не мог ни за что приняться“<sup>54</sup>).

Отрывая время от литературной работы и, в частности, от работы над статьями для сборника, Островский принялся за составление ответа Правдову. Статья была начата в Торжке 15 мая и закончена в Осташкове 24 мая. Между тем травля всё не прекращалась и доставляла много тяжелых переживаний писателю. В Калязине 4 июля он сделал новую запись в дневнике:

„В эту неделю я переживал самые мучительные дни и теперь еще не совершенно оправился. Только было я принялся за дело и набросал сцену для комедии, как получил от Григорьева письмо с приложением № „Полицейских ведомостей“, исполненного гнусных клевет и ругательств против меня. Мне так сделалось грустно. Личность литератора, исполненного горячей любви к России, честно служащего литературе, ничем у нас не обеспечена. — И притом же я удален от всех своих близких, мне не с кем посоветоваться, не с кем поделиться своим горем. Это навело на меня такую грусть, которой не дай бог испытать никому. Написал и разослал ответы; а между тем время уходит, душа растеряна“<sup>55</sup>).

Таким образом, бросив уже начатую работу о поездке в село Городню, запустив дневники и прочие записи, Островский оказался вынужденным в самый разгар экспедиции вступить в полемику с клеветниками. Повидимому, это обстоятельство также послужило причиной того, что в „Морском сборнике“ появилась лишь одна статья писателя—в 1859 году. Нам нет надобности излагать ее содержание, поскольку материал об экспедиции мы, главным образом, заимствовали из этой статьи. В том, что работа не была доведена до конца, сказались и изменения к ней отношения со стороны самого морского министерства, а также редакции, которая первоначально охотно предоставляла страницы сборника живым и увлекательно написанным очеркам, но затем начала тормозить их печатание, искажать текст, сводить очерки к форме простого отчета.

„Вопреки обещаниям свободы формы,—писал {С. В. Максимов, один из друзей Островского, сам принимавший участие в экспедиции,—редакция „Морского сборника“ охотнее помещала сухие репортажи, нежели художественные очерки. Она браковала,

сокращала, не доводила до конца присылаемый материал или задерживала печатанием“<sup>66)</sup>.

Статья Островского, которая должна была стать первой в ряде намечаемых очерков, около двух лет ждала очереди, чтобы попасть в печать. Немудрено, что над продолжением ее автор не захотел работать,—не зная наверняка, будет ли она напечатана. Ценность этой статьи мы видим не только в обилии материалов, которыми писатель пользовался, не только в блестящих по своей художественной силе страницах, посвященных описанию тяжкого положения народа, его вопиющей нищеты, но и в том, что статья, вместе с записями в дневнике, послужила материалом для целой серии драматических произведений Островского,—произведений, которые, по справедливости, до сих пор считаются лучшими образцами нашей русской художественной литературы. Об этом в свое время писал и Максимов:

„Волга дала Островскому обильную пищу, указала ему новые темы для драм и комедий и вдохновила его на те из них, которые составляют честь и гордость отечественной литературы“<sup>67)</sup>.

Еще отчетливей он сформулировал эту мысль в другом месте:

„После Волги у Островского совершился знаменательный переход от комедии к драме, т. е. от современных бытовых явлений к прошлому Руси, как бы для проверки воспринятого в настоящем бытовыми чертами старинной жизни, оставшими-ся во множестве цельными в старорусском Верховом Поволжье“<sup>68)</sup>.

Еще в Твери Островским начато было первое драматическое произведение из серии, возникшей в результате этой поездки. О нем писатель упоминает в своем дневнике, жалея, что пришлось отложить работу над его продолжением в связи с газетными выпадами. Речь идет о прекрасной комедии, занимающей одно из первых мест среди произведений великого драматурга,—„На бойком месте“. Об эпизоде, который вдохновил Островского написать эту комедию, он сам занес в дневник следующую запись:

„В Сытькове (в дневнике автор неправильно пишет: Ситкове.—Н. Ж.) содержатель постоялого двора, толстый мужик с огромной седой бородой, с глазами колдуна, не пустил нас: у него гуляли офицеры с его дочерьми, которых пять“<sup>69)</sup>.

Пользуясь рассказами самого писателя, С. В. Максимов пополнил эту лаконическую запись:

„Случайная встреча с отказом в приюте на ночлег по пути из Осташкова в Ржев и с хозяином постоялого двора, имевшим разбойничий вид и торговавшим пятью дочерьми, запечатлелась в памяти и выработалась в комедии „На бойком месте“<sup>60)</sup>.

Вукол Ермолаев Бессудный—содержатель постоялого двора „На бойком месте“—даже внешностью похож на этого сытьковского „мужика“. По ремарке автора, он „крепкий старик лет под

60, лицо строгое, густые, нависшие брови“. У него такие же, как у его прототипа, страшные глаза:

— „Экой муж-то у меня страшный!—воскликает Евгения.— Глазищи-то, как у дьявола! Выпучит их, так словно за сердце-то кто рукой ухватит“<sup>61</sup>).

Подобно тому, как Островский со своими спутниками получил отказ в ночлеге, так как на постоялом дворе кутили офицеры,—Бессудный отказывается приютить проезжих, не видя в них материальной выгоды для себя.

По аналогии с сытковским содержанием постоялого двора, Бессудный ведет торговлю ласками своей жены, которая служит у него приманкой для богатых постояльцев. „Не сахарная, не развалишься“,— отвечает он на ее жалобы о приставах проезжих.

В другой комедии—„Доходное место“, задуманной в период экспедиции и написанной в конце 1856 года, Островский возвращается к той же теме—о торговле женщинами: рисует браки в чиновничьей среде.

„Вы видели мое отвращение к вам,—говорит Вышневецкая, жена крупного чиновника,—и, несмотря на это, вы все-таки купили меня за деньги у моих родственников, как покупают невольницу в Турции“<sup>62</sup>).

Сцена у вдовы Кукушкиной рисует самую настоящую торговлю дочерью, которую ведет эта женщина, всюду твердящая о своей любви к собственным детям. О замужестве дочерей она рассуждает, как подлинная торговка:

„И жаль расставаться, а нечего делать. Такой товар дома не удержишь“<sup>63</sup>).

Нет сомнения, что в комедии, о которой идет речь („Доходное место“), нашли себе отражение и те рассказы о поборах, которых немало наслушался Островский от своих знакомых купцов в Твери, Торжке и особенно в Ржеве.

В качестве детали, не лишенной интереса, отметим упоминание в комедии картины со стихами, распространенной в былое время в мещанских и купеческих домах Тверской губернии. Мы имеем в виду аллегорическую картину „Фортуна“, экземпляр которой сохранился в материалах Тверской губернской ученой архивной комиссии. Картина нарисована на оборотной стороне гильдейского свидетельства купца Глазковского, известного тверского живописца, и, очевидно, принадлежит его кисти. Она изображает колесо. На нем с пальмовой ветвью в руках, с гордой осанкой, стоит человек, другой—падает с колеса головой вниз. Направо от колеса шар, на котором с повязкой на глазах стоит Фортуна, указывающая пальцем на человека с пальмовой ветвью. Над картиной—назидательное стихотворение о власти судьбы.

Старый взяточник Юсов в комедии „Доходное место“ говорит именно о такой картине:

„Судьба все равно, что фортуна... Как изображается на картине... колесо и на нем люди... Поднимается кверху и опять

опускается вниз, возвышается и потом смиряется, превозносится собой и опять ничто... Так все кругообразно. Устраивай свое благосостояние, трудись, приобретай имущество... возносишься в мечтах... и вдруг наг!.. Надпись подписана под этой фортуной... (с чувством)

Чуден в свете человек!  
Суется целый век.  
Счастья сыскать желает,  
А того не воображает,  
Что судьба им управляет<sup>(64)</sup>.

Мы привели случай использования писателем народного лубка. Есть мнение, что волжским народным песням мы обязаны возникновением пьесы Островского „Воевода“ („Сон на Волге“).

Устное предание, которое нам пришлось слышать в Ржеве, рассказывает, что с этими песнями писатель ознакомился у ржевятинина Мыльниковца (знакомство Островского с Мыльниковым следует считать вполне установленным). Называется также имя Тертия Ивановича Филиппова, которого, правда, в это время в Ржеве не было, — вместо него Островскому помогал брат Тертия — Астерий.

Нашла отражение в „Воеводе“ и природа волжских мест (например, окрестностей Городни и Осташкова), которой драматург особенно восхищался.

Фигура пустынноика, мастерски нарисованная Островским буквально несколькими мазками, возникла под заметным влиянием слышанной писателем легенды о Ниле Столобенском. Недаром, возвратясь из монастыря, Островский записал на полях своего дневника, для памяти: „Спросить у Филиппова житие преподобного Нила“<sup>(65)</sup>.

Большой знаток творчества Островского С. К. Шамбинаго, анализируя образ пустынноика, пишет:

„Аскетический покой объемлет старца, перед читателем как бы воскрешен Нил Столобенский, обитель которого видел на Волге Островский“<sup>(66)</sup>.

Злоупотребления властей, свидетелем чего был писатель и о чем рассказывали ему многочисленные его знакомые из самых разнообразных слоев общества; свидетельства о том же древних рукописей, грамот и летописей — все это дало Островскому обильный материал для изображения воеводского произвола. Нам кажется, что заключительный разговор между старыми и молодыми посадскими о воеводах имел непосредственное отношение и к более поздним временам. Этим разговором писатель показывал, против кого он направлял свой удар в пьесе.

„Старые посадские: Ну, старый плох, каков-то новый будет?

Молодые посадские: Да, надо быть, такой же, коль не хуже“<sup>(67)</sup>.

Материалы экспедиции были использованы Островским и в его драме „Бесприданница“, написанной в 1878 году. Волжские



купцы, богатые судохозяева, выведенные в пьесе, — это люди того круга, с которыми во время поездки больше всего общался писатель. Один из персонажей пьесы — полуразорившийся барин, судовладелец Сергей Сергеевич Паратов, представляясь чиновнику Карандышеву, повторяет почти дословно то, что в аналогичном случае услышал сам автор от новоторжского винного пристава Развадовского:

„Человек с большими усами и малыми способностями. Прошу любить и жаловать“<sup>68</sup>).

Но больше всего материалы, собранные во время волжской экспедиции, Островский использовал в драме „Гроза“, которая была напечатана в первой книге журнала „Библиотека для чтения“ за 1860 год.

По свидетельству С. В. Максимова, толчком к написанию этого выдающегося произведения русской драматургии явились наблюдения писателя над бытовыми особенностями старинного города Торжка:

„Наружно красивый Торжок, ревниво оберегавший свою новгородскую старину до странных обычаев девичьей свободы и строгого затворничества замужних, вдохновил А. Н. Островского на глубоко-поэтическую „Грозу“ с шаловливою Варварой и художественно-изящною Катериной. На городском бульваре и на улицах по вечерам наш автор видел еще стройных новоторков в бархатных (теперь исчезнувших) шубейках рядком и о-бок со своим „предметом“ — добрыми молодцами, с которыми обычай разрешал открыто миловаться и целоваться“<sup>69</sup>).

В статье для „Морского сборника“ Островский дал яркую картину новоторжских нравов.

„Недолго нужно жить в Торжке, — писал он, — чтобы заметить в обычаях и костюме его жителей некоторую разницу против обитателей других городов. Девушки пользуются совершенной свободой; вечером на городском бульваре и по улицам гуляют одни или в сопровождении молодых людей, сидят с ними на лавочках у ворот, и не редкость встретить пару, которая сидит обнявшись и ведет сладкие разговоры, не глядя ни на кого. Почти у каждой девушки есть свой кавалер, который называется „предметом“<sup>70</sup>).

В вымышленном городе Калинове („Гроза“) царят такие же нравы. И здесь девушки пользуются большой свободой, которая для приезжающих кажется новой, необычной.

„Точно я сон какой вижу! — говорит приезжий племянник Дикого Борис Григорьевич. — Эта ночь, песни, свидания! Ходят, обнявшись. Это так ново для меня, так хорошо, так весело“<sup>71</sup>).

На гулянье девушек самые строгие родители смотрят в Калинове в полном согласии с новоторжской традицией, как на вполне законное, подкрепленное обычаями старины явление. Кабаниха, не дающая покоя домашним, превратившая своего взрослого сына в безвольного исполнителя ее любых желаний, тиранящая всех окружающих, ночные прогулки своей незамужней дочери Варвары расценивает как должное:

„А мне что! Поди! Гуляй,—говорит она Варваре,—пока твоя пора придет. Еще насидишься!“<sup>72)</sup>.

Кудряш, объясняя Борису Григорьевичу обычаи города Калинова, указывает на другую сторону медали, отмеченную Островским в Торжке,—на бесправное положение замужних женщин:

„...Девки гуляют себе, как хотят, отцу с матерью и дела нет. Только бабы взаперти сидят“<sup>73)</sup>.

Еще ярче охарактеризовано положение замужней женщины в словах Бориса Григорьевича, который, как приезжий, весьма остро реагирует на особенности местного быта. После неудачной попытки увидеть Катерину он рассуждает: „Здесь что вышла замуж, что схоронили—все равно“<sup>74)</sup>.

Конечно, город Калинов—не Торжок, и писатель, дав ему вымышленное название, этим, по нашему мнению, лишний раз подчеркнул, что, рисуя облик Калинова, он пользовался наблюдениями в различных городах; создал, если можно так выразиться, собирательный образ провинциального приволжского города. Писатель щедро черпал материалы из записей своих личных наблюдений и слышанных им рассказов о Верхнем Поволжье. Местами его герои почти дословно повторяют его же собственные мысли, высказанные в дневнике. Особенно часто эти мысли встречаются в рассуждениях механика-самоучки Кулигина, мечтающего о счастье всего обездоленного люда. Подобно Островскому, Кулигин восхищается чудной волжской природой и говорит о своих чувствах почти в тех же выражениях, какими пользуется сам автор в дневнике:

„Вид необыкновенный! Красота! Душа радуется... Восторг! Пригляделись вы, либо не понимаете, какая красота в природе разлита“<sup>75)</sup>.

Рассказы Кулигина о нищете калиновских мещан напоминают, а часто дословно повторяют записи Островского о поразившей его нищете мещан Твери, Торжка и Калязина:

„Бедным гулять, сударь, некогда, у них день и ночь работа. И спят-то всего часа три в сутки“<sup>76)</sup>.

Характеризуя безвыходность положения мещан, Кулигин начинает говорить языком городненского ямщика, беседу с которым подробно записал себе на память драматург. В рассуждениях калиновского механика-самоучки чувствуется и нечто от заметок писателя о грубости и бедности калязинских мещан, которые можно найти на полях его дневника.

Безработица—вот зло, от которого страдают мещане города Калинова. От нее-то и мечтает избавить своих сограждан Кулигин:

„Работу надо дать мещанству-то,—говорит он, обращаясь к Борису Григорьевичу. А то руки есть, а работать нечего“<sup>77)</sup>.

Невольно вспоминаются слова драматурга о тверских мещанах:

„Как много готовых рабочих рук и как мало работы“<sup>78)</sup>.

Безусловно новоторжские черты придает городу Калинову такая, например, подробность его быта, как занятие мещанских

девушек золотым шитьем. Катерина рассказывает Варваре, вспоминая свою девичью жизнь:

„...Сядем за какую-нибудь работу, больше по бархату золотом...“<sup>79</sup>).

В образе Кудряша, нам кажется, много общего с ямщиком, который вез писателя из Эммауса в Городню. Когда Кудряш говорит своему собеседнику — мещанину Шапкину: „Больших я на девок-то!“ — невольно приходят на ум слова красавца-ямщика: „Это точно, меня девушки очень любят... А это бабы, это девки — все наше“<sup>80</sup>).

Предание о „литовском разорении“, т. е. о польской интервенции XVI—XVII веков, которое Островский слышал в Городне и о котором слышал и читал в Торжке, нашло отражение в сцене на берегу Волги (около старой арки).

„Гроза“... полна впечатлений поездки, — замечает по этому поводу С. К. Шамбинаго. — Четвертый акт, кульминационный, происходит, по ремарке автора, в узкой галлерее со сводами старинной, начинающей разрушаться постройки. За арками — берег и вид на Волгу. Стены арки были когда-то расписаны фресками, изображающими геенну огненную и битву с Литвой. О литовском разорении вспоминают и гуляющие обыватели. В своей корреспонденции из Твери автор указал на поразившие его фрески, когда осматривал остатки города Вертязина, и не раз упоминал о литовском разорении“<sup>81</sup>).

Немало удачных выражений, слышанных писателем во время поездки и записанных в дневнике, немало пословиц, поговорок, собранных среди крестьян и мещанства, было использовано им впоследствии в различных произведениях. В качестве примера укажем, что записанная им характеристика рыбака, которую он, очевидно, слышал от калязинских горожан — „пронзительный мужик“, — влагается в уста Кудряшу, когда тот говорит о Диком<sup>82</sup>).

Демократическая критика в лице Добролюбова увидела в „Грозе“ начало нового этапа в истории русской драмы. Она справедливо отметила народность этого выдающегося произведения. Создать подобную пьесу Островский мог только после глубокого изучения жизни народа. Литературная экспедиция сыграла в этом изучении далеко не последнюю роль.

Несколько слов о спорах, которые в печати и в литературных кругах идут вокруг вопроса о том, какой город изображен в „Грозе“. Одни называют Ржев, указывая на сходство обстановки последнего действия с расположением этого города, а также на тот факт, что во времена Островского в Ржеве жили купцы, носившие кличку Кабановых. Другие, основываясь на не совсем правильно понятом свидетельстве Максимова, называют Торжок. Третьи толкуют о Калязине и т. д. Мы уже изложили свой взгляд выше. Еще раз повторяем: гор. Калинов — обобщенный образ; это типичный провинциальный город России времен Островского. Рисуя „темное царство“, писатель пользовался наблюдениями, которые делал, бывая в различных русских городах.

По окончании волжской экспедиции Островский часто приезжал к своим знакомым и друзьям в Тверскую губернию, особенно в город Ржев. Но это были недолговременные выезды на отдых, не оставлявшие значительного следа ни в жизни, ни в творчестве писателя. Отметим поездку в 1862 году в Тверь, где писатель выступил со своими произведениями на большом литературном вечере.

В начале 1862 года в Твери собрался значительный кружок литераторов. Здесь жил М. Е. Салтыков (Щедрин), поэт Ф. Н. Глинка; вокруг них группировались начинающие писатели. Под влиянием М. Е. Салтыкова у местных литераторов возникла мысль об организации литературного вечера в пользу бедных чиновников—мысль, которая тогда же была реализована. Вечер состоялся 24 января 1862 года. На нем выступали Ф. Н. Глинка со своими стихотворениями и статьей „Черты из жизни Милорадовича“, его жена поэтесса А. П. Глинка, чиновники М. Н. Пантев и Ф. Львов. Салтыков не принял участия в этом вечере, а решил организовать другой, в котором пригласил участвовать ряд писателей, печатавшихся в прогрессивных журналах. „Тверские губернские ведомости“ в номере от 17 марта 1862 года писали:

„Мы только что узнали из достоверных источников, что по приглашению бывшего тверского вице-губернатора Михаила Еврафовича Салтыкова, всем известные по своим талантам лица: гг. Островский, Плещеев, Садовский, Горбунов и Жемчужников изъявили согласие прибыть в Тверь, чтобы дать литературный вечер в пользу капитала для воспомоществования нуждающихся чиновников города Твери.—Вечер, как слышно, состоится 22 сего марта, в четверг, в зале Дворянского собрания“<sup>83</sup>).

Вечер состоялся в назначенный день. Кроме заболевшего П. М. Садовского, который готовился выступить с чтением отрывков из произведений Островского, остальные участники явились все. Вечер дал полный сбор и прошел с большим успехом.

Особенный успех выпал на долю А. Н. Островского, который прочел отрывки из своей недавно написанной пьесы, возникшей в результате литературной экспедиции по Верхней Волге,—„Козьма Минин“. Успех этот вызвал появление в официальной газете, рупоре местной правящей клики—„Тверских губернских ведомостях“,—обширной рецензии. Назначение ее сводилось к тому, чтобы рассеять хорошее впечатление от вечера, тем более, что он был организован Салтыковым, которого местные реакционные круги считали человеком неблагонадежным.

„Предо мною,—писал неизвестный рецензент,—драма г. Островского „Козьма Минин“, из которой он выбрал самое эффектное место для прочтения в публике, и прочитал его с чувством и внятно. Странное сделало на меня впечатление прочтение этого произведения! Не знаю, почему мне вспомнились те аркадские пастухи и пастушки, которые выделывают великолепные и трудные *па* на подмостках балетной сцены,—все они такие хоро-

шенькие, разрумяненные, в костюмах они легких, солнце им светит постоянно яркое, поют они все про любовь, а от действительных пастухов и пастушек, терпящих и голод и стужу и одетых в обтрепанных лохмотьях, с загорелыми и большею частью безобразными лицами, за тридевять они земель! Отчего вспомнились мне эти созданные человеческою фантазиею фигурки, предоставляю угадать читателю, прибавив со своей стороны, что драма г. Островского „Козьма Минин“, вероятно, написана исключительно для сцены, тем более, что во многих местах так и виден расчет со стороны автора на сценический эффект, или, быть может, автору хотелось провести любимую и взлелеянную мысль в самой великолепной обстановке, и он мало переработал свое сочинение,—тогда делается понятным, почему производит оно на большинство публики то же впечатление, как на многих картина Иванова „Спаситель, являющийся народу“, в коей видят они труд, труд и только труд“<sup>84</sup>).

Эта сбивчивая, невразумительная рецензия чрезвычайно симптоматична. Автор не рискнул сформулировать ни одного обвинения Островскому, предпочитая намеки и многословные, но непонятные аллегории. Разумеется, пьеса „Козьма Минин“ не может быть отнесена к лучшим произведениям великого русского драматурга, однако упрек в полном отходе от реализма (ведь иначе трудно истолковать рассуждения об аркадских пастухах в балете) не выдерживает никакой критики.

Смысл злобствования „Тверских губернских ведомостей“ совершенно ясен. Представители тверского чиновничества пытались с помощью этой газетки предохранить любителей театра и драматургии от увлечения творчеством Островского.

В 1895 году Товарищество русских драматических артистов в Твери, в лице режиссера Дмитриева-Волынского, хотело поставить известную историческую драму Островского „Василиса Мелентьева“. Добиться разрешения в Твери артистам не удалось, тогда они обратились в Главное управление по делам печати. Пьеса эта цензурой не была воспрещена, поэтому разрешение было дано, но с оговоркой: „если имеются соответствующие пьесе приличные костюмы и обстановка“<sup>85</sup>). Получив такое указание, тверской губернатор решил проверить готовность труппы к спектаклю. В качестве эксперта в театр был командирован... местный полицмейстер с поручением „осмотреть костюмы, декорации и обстановку“<sup>86</sup>). Разумеется, полицмейстеру не понадобилось много трудиться, чтобы „доказать“, что труппа не готова...

Во всем этом ярко сказалось враждебное отношение правившей верхушки царской России к творчеству одного из корифеев отечественной драматургии.

Правдивое, разящее слово Островского представляло серьезную опасность для помещичье-буржуазного строя.

---

# ДОСТОЕВСКИЙ В ТВЕРИ

## I

Великий русский писатель Ф. М. Достоевский жил в Твери с 19 августа по 19—21 декабря 1859 года. Он приехал сюда в связи со следующими обстоятельствами своей жизни.

В 1846 году, т. е. за 13 лет до приезда в Тверь, молодой инженер-поручик в отставке, талантливый автор романа „Бедные люди“ и других произведений, Достоевский, живя в Петербурге, познакомился с чиновником министерства иностранных дел М. В. Буташевичем-Петрашевским. Еженедельно по пятницам у Петрашевского собирались молодые люди—литераторы, студенты, преподаватели, офицеры, чиновники,—чтобы поговорить о новостях литературы, обменяться мнениями о прочитанных научных сочинениях и поделиться мыслями о событиях политической жизни. Иногда на собраниях кем-либо из присутствующих читались лекция или реферат.

Над Россией тяготел крепостнический и жандармский гнет. Народная крестьянская масса выражала свою ненависть к поработителям то в виде разрозненных выступлений одиночек, которым становились невмочь издевательства помещика и его лютых приспешников, то в виде возмущения целых селений и вотчин, выведенных из терпения голодной жизнью, непомерным трудом на барских полях, неограниченными поборами со стороны помещика и самодержавной власти, насилием и произволом. Правительство Николая I, имея в своем распоряжении жандармерию, полицию, армию, суды и тюрьмы, без особенных трудностей подавляло стихийные вспышки крестьянского возмущения, жестоко расправляясь с организаторами и зачинщиками.

Среди интеллигенции тех годов была крайне незначительная прослойка людей, передовых по уму, образованию и взглядам на жизнь,—людей, которые видели, что крепостнический строй, соответствуя интересам класса помещиков и охраняя эти интересы, задерживает рост народа, сковывает производительные силы страны, мешает развитию в ней хозяйства, техники, просвещения. Передовые люди сочувствовали страданиям закрепощенной народной массы и готовы были содействовать облегчению ее участи. Но они стояли далеко от народа. Прямых связей с народом у них не было и, отчасти, не по их вине. Чтобы не допустить связи между передовыми людьми и угнетен-

ной массой народа, чтобы лишить передовых людей возможности выражать свои мысли и взгляды, опасные в случае проникновения их в народную массу, правительство Николая I установило суровую цензуру на книги, журналы и газеты, держало всю передовую интеллигенцию под постоянным наблюдением жандармов и действовало на нее мерами террора. Время было тяжелое, глухое.

Образованные люди, собиравшиеся по пятницам у Петрашевского, принадлежали к передовой интеллигенции. С произволом и гнетом они не могли мириться. Их мысли и стремления были направлены к тому, чтобы устранить крепостничество и самодержавие и устроить жизнь на принципах свободы, справедливости и гуманности. Теоретическую основу для своих стремлений, дум и мечтаний товарищи Петрашевского—петрашевцы находили в учениях утопического социализма, изложенных в сочинениях Сен-Симона, Луи Блана, Кабэ, Консидерана, Пьера Леру, Фурье, Оуэна. Эти учения возникли в странах Западной Европы в первой трети XIX века, т. е. в тот исторический момент, когда противоречия между эксплуататорами и трудящимися массами уже обнаружились в полной мере, но рабочий класс еще недостаточно созрел и не был отмечен теоретиками общественного переустройства как единственная реальная сила, способная изменить жизнь, уничтожить гнет и эксплуатацию.

В „Манифесте коммунистической партии“ Маркс и Энгельс так писали о творцах систем утопического социализма: „Собственно социалистические и коммунистические системы, системы Сен-Симона, Фурье, Оуэна и т. д., возникают в первый, неразвитый период борьбы между пролетариатом и буржуазией... Изобретатели этих систем, правда, видят противоположность классов, так же как и действие разрушительных элементов внутри самого господствующего общества. Но они не видят на стороне пролетариата никакой исторической самостоятельности, никакого собственного ему политического движения“<sup>1)</sup>.

Петрашевцы и другие, более поздние, русские последователи утопического социализма видели противоречия общественного строя той поры, но не знали реальной силы, способной свергнуть этот строй революционным путем. Эта сила, в виде союза рабочего класса и крестьянства, еще не созрела в России того времени.

Внимательно следили петрашевцы за событиями, происходившими в Западной Европе. Рост революционного движения во Франции радовал их. Известие о восстании в 1848 году трудящихся масс в Париже петрашевцы восприняли с восторгом. За революционной волной, охватившей немецкий народ в 1848—1849 годах, они следили с напряженным вниманием и радостным ожиданием, что эта волна докатится до закрепощенного русского крестьянства. В 1848 году кружок друзей Петрашевского значительно увеличился. Рядом с пленарными собраниями на квартире Петрашевского созданы были филиалы и секции, которые собирались у молодых поэтов С. Ф. Дурова и А. Н. Плещеева,

у Н. А. Спешнева, Н. С. Кашкина и др. Под влиянием революционных событий на Западе в кружке петрашевцев наметились разногласия, выявились революционные течения, с одной стороны, и реформистские, соглашательские—с другой. Революционно настроенные участники кружка, группировавшиеся вокруг Дурова и Спешнева, знакомого с некоторыми произведениями Маркса и Энгельса, стали думать о подготовке к революционным действиям, о создании подпольной типографии для печатания брошюр и воззваний, которые разъясняли бы массе народа тогдашнее положение и призывали к восстанию.

К одной из революционных секций петрашевцев принадлежал писатель Ф. М. Достоевский. Вместе с Н. А. Спешневым и С. Ф. Дуровым он взялся за организацию подпольной типографии, готовый к самым решительным действиям против самодержавной власти, считавший, что крепостное состояние народа, подавленность мысли и слова не могут быть терпимы. На нескольких собраниях петрашевцев Достоевский прочитал с целью агитации знаменитое письмо Белинского к Гоголю, которое известно было тогда немногим и распространялось тайным путем.

Жандармы Николая I выследили петрашевцев. На „пятницу“ Петрашевского был подослан агент-provokator Антонелли, который и сообщал в III отделение, т. е. в центр жандармского сыска, о том, что говорилось на собраниях. В апреле 1849 года правительство, испуганное революционными событиями в Германии и Венгрии, решило немедленно расправиться с петрашевцами. В ночь на 23 апреля были арестованы 34 человека, в том числе и Ф. М. Достоевский. Арестованных свезли в казематы Петропавловской крепости. Из членов правительства, жандармов и генералов была составлена следственная комиссия. Петрашевцы вели себя мужественно и стойко, признавались только в том, чего нельзя было скрыть, выгораживали друг друга, отводили подозрения от оставшихся на воле. Филиал Спешнева, замышлявший революционную пропаганду, в который входил Достоевский, комиссией не был раскрыт. Однако стремления и действия петрашевцев следственная комиссия признала опаснейшими, а Достоевского выделила как „одного из важнейших“<sup>2)</sup>. Военный суд приговорил 21 человека к расстрелу, одновременно ходатайствуя перед царем о замене казни долгосрочной каторгой. Николай I решил воспользоваться расправой над петрашевцами в целях террора. Осужденных привезли на Семеновскую площадь в Петербурге, взвели на эшафот, сделали все приготовления к смертной казни. Достоевский стоял на эшафоте в шеренге рядом с поэтами Дуровым и Плещеевым. Готовясь к смерти, они поцеловали друг друга. Но в самый последний момент руководители расправы объявили, что царь заменяет казнь ссылкой в каторжные работы. Относительно Достоевского окончательная резолюция Николая I была такова: „на четыре года, а потом рядовым“<sup>3)</sup>. Талантливый писатель, на которого Белинский указал как на восходящую надежду русской литературы, приговоривался к четырем годам заключения в ка-



торжной тюрьме, а затем, по отбытии срока, к зачислению рядовым солдатом. 24 декабря 1849 года Достоевский был отправлен из Алексеевского рavelина Петропавловской крепости в Сибирь.

Каторжные работы Достоевский, закованный в кандалы, отбывал в Омской тюрьме. Что видел, что пережил там писатель, можно отчасти узнать из его произведения „Записки из мертвого дома“. Много ценных сведений о своей каторжной жизни он сообщил в письме к брату, написанном 22 февраля 1854 года, через неделю после выхода из тюрьмы. „Что сделалось с моей душой,—писал Достоевский брату,—с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года—не скажу тебе. Долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, об которых я и не думал“<sup>4</sup>).

Изоляция от передовых, развивающихся сил страны, „вечное сосредоточение в самом себе“ привели писателя к пересмотру былых убеждений и отречению от революционных путей перестройки жизни. „Эта долгая, тяжелая физически и нравственно, бесцветная жизнь сломила меня“,—писал Достоевский жене декабриста Н. Фонвизиной по выходе из каторги<sup>5</sup>).

Достоевский навсегда сохранил веру в творческие силы народа. Желание быть полезным своей стране возросло у него. Противоречия жизни он видел теперь еще лучше. Но в своем представлении путей, по которым народ должен идти к лучшему будущему, в своем понимании средств устранения противоречий жизни, Достоевский после каторги отклонялся все далее и далее от передовых людей своего времени, что и приводило его порой к соприкосновению с самыми реакционными силами.

## II

23 января 1854 года срок каторги истек, и Достоевский 2 марта был зачислен рядовым солдатом в 7-й сибирский линейный батальон, находившийся в Семипалатинске. Солдатчина была легче каторги. Но и солдат николаевской поры был тоже невольником. „В солдатской шинели я такой же пленник“,—с горечью писал Достоевский Н. Фонвизиной.

Надежда на новое облегчение своей участи появилась у писателя в связи со смертью Николая I и вступлением на престол Александра II. После поражения крепостнической России в Крымской войне 1853—1856 годов правительство Александра II увидело, что дворянам для сохранения власти в своих руках нужно пойти на уступки в пользу растущей буржуазии, а также и народа и прежде всего—отказаться от крепостного положения крестьян. В связи с этим Александр II смягчил репрессии в отношении к декабристам и петрашевцам, выступившим в прошедшее царствование против крепостничества.

По ходатайству героя севастопольской обороны инженера Э. И. Тотлебена, с которым писатель был знаком до каторги и

к которому он обратился теперь с просьбой о помощи, Достоевский был произведен в октябре 1856 года в офицеры. Теперь его положение настолько улучшилось, что появилась возможность писать. У Достоевского зрели планы теоретических статей по вопросам искусства и литературы и планы художественных произведений. Одно время его очень беспокоил вопрос о том, имеет ли он право печатать написанное. К литературной работе побуждали его и материально-бытовые условия, которые стали особенно трудны после женитьбы на вдове бедняка-чиновника М. Д. Исаевой.

Ободряемый первыми удачами на пути к своему освобождению, а также и примером освобождения от ссылки декабристов и некоторых из петрашевцев, Достоевский послал в Петербург прошение об увольнении от военной службы и разрешении жить в Москве. Через своего семипалатинского знакомого А. Е. Врангеля он просил Тотлебена похлопотать о благоприятном исходе дела. Писателя манила свобода от военщины и ссылки и надежда на возможность целиком отдаться литературному труду.

В 1857 году в „Отечественных записках“ был напечатан без указания фамилии автора рассказ Достоевского „Маленький герой“, написанный еще в 1849 году в каземате Петропавловской крепости. В ожидании решения вопроса об отставке Достоевский энергично принялся за большую литературную работу, результатом которой стали два произведения: повесть „Дядюшкин сон“ и роман „Село Степанчиково и его обитатели“.

Увольнение от военной службы и разрешение вернуться в Европейскую Россию были даны 18 марта 1859 года. Что же касается разрешения на жительство в Москве, то в этом было отказано. Достоевскому дали понять, что право на жизнь в столицах надо заслужить как новую милость со стороны жандармов, что для получения этого права надо просить царя, направляя просьбу через III отделение. Покамест для жительства Достоевскому указана была Тверь! Это указание было сделано, по всей вероятности, в соответствии с желанием самого писателя, выраженным или непосредственно, или через старшего брата, Михаила Михайловича Достоевского, жившего в Петербурге и принимавшего в судьбе Достоевского живейшее участие. В материалах о Достоевском первое упоминание о Твери находится в письме бывшего петрашевца поэта А. Н. Плещеева, который еще 10 февраля 1859 года, т. е. за месяц до решения вопроса об отставке, писал Достоевскому из Петербурга: „Слышал я, что вам велено избрать место жительства. Вероятно, вы поселитесь в Твери. Ближе к брату и ко всему“<sup>6)</sup>.

Несколько позднее о Твери говорится в ответном письме самого Достоевского к брату Михаилу от 11 апреля 1859 года. Из этого письма видно, что Михаил писал Достоевскому о жизни в Твери как о вопросе, уже решенном, и думал, что писателю придется жить здесь два года. Мысль о том, что в течение двух лет придется жить в Твери, была тягостна для Достоевского, и он решительно отклонял ее.

„Ты пишешь о Твери,—обращался Достоевский к брату,—и говоришь, что нужно прожить в ней 2 года. Но, друг мой, это ужасно. Я надеюсь, напротив, тотчас же испросить позволения жить в Москве. Начну просить по приезде в Тверь, разумеется“<sup>7)</sup>).

В увольнительном билете, который был выдан Достоевскому по месту службы командиром 7-го сибирского линейного батальона, сказано: „По отставке изъявил место жительства в Твери“<sup>8)</sup>). В официальной переписке по делу Достоевского, которая хранится в Калининском историческом архиве, во всех случаях говорится, что Достоевский „обязался по отставке иметь жительства в Твери“<sup>9)</sup>).

То, что Достоевский, когда въезд в столицы был ему запрещен, изъявил желание поселиться в Твери, объясняется положением этого города на пути из Петербурга в Москву и сравнительной близостью к обеим столицам, где у писателя жили родные, на материальную помощь которых он мог рассчитывать в крайности. Другой и более важный мотив состоял в том, что из Твери было удобно поддерживать связь с редакциями журналов, завязавшиеся через Михаила Достоевского и Плещеева еще во время пребывания писателя в Семипалатинске.

Из Семипалатинска Достоевский смог выехать только 2 июля 1859 года. Опасаясь, что ему с женой и пасынком нехватит денег на дальний путь в четыре тысячи верст, который надо было проехать на лошадях, Достоевский попросил своего брата Михаила выслать в Казань 200 рублей с таким расчетом, чтобы их можно было получить проездом через этот город. Свое путешествие от Семипалатинска до Твери Достоевский описал в письме к сослуживцу по 7 сибирскому линейному батальону А. И. Гейбовичу<sup>10)</sup>). Ехал через Омск, Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Казань, Нижний, Владимир. Из Владимира, чтобы миновать Москву, куда въезд был запрещен ему, Достоевский повернул на Троице-Сергиевскую лавру (Загорск), а оттуда—в Тверскую губернию. В Тверь Достоевский приехал 19 августа 1859 года, судя по тому, что в этот день в 4½ часа пополудни братом писателя Михаилом была получена уже из Твери телеграмма, отправленная, по всей вероятности, сейчас же по приезде.

„Наконец, после долгих страданий, прибыли в Тверь,—писал Достоевский Гейбовичу,—остановились в гостинице, цены непомерные. Надо нанять квартиру. Квартир много, но с мебелью ни одной, а мебель мне покупать на несколько месяцев неудобно. Наконец, после нескольких дней искания, отыскал квартиру не квартиру, номер не номер, три комнатки с мебелью за 11 рублей серебром в месяц“<sup>11)</sup>).

Три комнатки, занятые Достоевским на третий или четвертый день по прибытии, находились, как это видно по адресам получаемых им писем, „в доме Гальянова, близ почтамта“<sup>12)</sup>).

На пребывание в Твери Достоевский смотрел как на кратковременный эпизод и неособенно хлопотал относительно устройства своего быта. И брат Михаил Михайлович обнадеживал

теперь возможностью скорого переезда в столицу и не советовал обосновываться сколько-нибудь прочно. „Нанимай квартиру с мебелью,—писал он Достоевскому,—и, пожалуйста, ничем не обзаводись. Чашки и той не покупай“<sup>13</sup>).

Правда, и покупать было не на что.

„Денег у меня,—писал Достоевский брату на пятый день по прибытии,—всего 20 рублей и непроданный тарантас, в котором я приехал. За него давали 30 рублей, а он стоил мне 115. Обидно. Ищу покупателей хоть бы за 40 рублей. Но когда они найдутся? Ты советуешь не покупать даже чашки. Чашки-то, положим; но самовар непременно надо купить. Вот и расход. К тому же сапоги и башмаки плохи. Одним словом, поместились мы как на булавочном кончике“<sup>14</sup>).

Достоевского одолевала материальная нужда. Ему, писателю-бедняку, разночинцу, приходилось думать, заботиться и хлопотать о таких мелочах, которых не знали писатели, жившие, как Тургенев, не столько на литературный заработок, сколько на доходы с имений.

Михаил Михайлович готов был поддержать брата, оказать ему материальную помощь. Но собственные дела его, обремененного большой семьей, были далеко не блестящи. Литературную работу, которую довольно успешно начал он в молодости, пришлось почти совсем оставить. Он кое-как изворачивался, хозяйствуя на небольшой табачной и гильзовой фабрике и пускаясь в коммерцию. У московских родственников можно было иногда взять в долг, но одни из них были сами небогаты, другие и в долг давали очень неохотно, и обращаться к ним Ф. М. Достоевский избегал, если не было крайней необходимости.

У Достоевского был один источник существования—литературный труд. Без этого труда самая жизнь не имела смысла для писателя. Он сознавал свои творческие силы и готов был отдать их на благо страны. Его влекла литературная борьба. Он видел, что может привнести в литературу нечто новое. Выйдя из тюрьмы и стремясь сбросить ярмо солдатчины, он писал брату: „Я хочу писать и печатать. Более чем когда-нибудь я знаю, что я не даром вышел на эту дорогу и что я не даром буду бременить собою землю. Я убежден, что у меня есть талант и что я могу написать что-нибудь хорошее. Ради бога не принимай моих слов за фатовство. Но кому ж мне и поверять мечты и надежды мои, как не тебе? К тому же я хотел непременно, чтоб ты знал, для каких соображений мне нужна свобода и некоторое общественное положение“<sup>15</sup>).

Условия для литературно-творческой работы в Твери были неблагоприятны. Литературная жизнь была сосредоточена тогда в столицах—в Петербурге и Москве. Там находились издательства книг и редакции журналов, там можно было завязать личные знакомства с редакторами, издателями, писателями, критиками, цензорами. Все это было необходимо для Достоевского. Он жил десять лет в глуши. После столь долгого вынужденного отхода от литературной жизни ему нужно было подышать

воздухом столиц, возобновить старые и завязать новые знакомства и связи с литераторами, разобраться в литературных течениях, чтобы найти среди них свое место, свою литературную дорогу. Отдавшись творческой работе, связавшись с редакциями и издателями, Достоевский мог улучшить и свое материальное положение, мог избавиться от угнетавшей его нужды и мелочных забот о самом насущном. Между тем, даже поездки в столицы были для него делом невозможным, строго запрещенным. Он и письменно не мог изъясняться сколько-нибудь свободно, так как находился под тайным надзором жандармерии и полиции. Его переписка прочитывалась. Это не было секретом ни для него самого, ни для его корреспондентов. Были случаи, когда письма не доходили по адресу, задерживались.

Живя в Твери, Достоевский видел, что ссылка еще не кончилась, что его руки связаны.

„Когда-то увидимся?—с горечью писал он брату.—Я хоть и сижу в Твери, а все-таки продолжаю странствовать; когда-то нас опять соединит судьба?“<sup>16)</sup>

При чтении отосланных из Твери писем Достоевского, полных смятения и тревоги за настоящее и будущее, надо иметь в виду, что на этих письмах лежит жандармская тень, что писатель постоянно чувствовал себя связанным в передаче своих мыслей и переживаний, что в письмах много невысказанного или выраженного только в виде намека.

Жажда литературного труда, сознание своих творческих сил, ревнивое отношение к своему литературному престижу и в то же время постоянная сковывающая материальная нужда, положение политического ссыльного и поднадзорного—такова трагедия, которую в Твери переживал Достоевский. Отсюда вытекали два тесно связанных направления, в которых приходилось действовать писателю во время четырехмесячного вынужденного пребывания в Твери. Первое—хлопоты о напечатании и подготовка к печатанию уже написанного и замыслы новых произведений. Действуя в этом направлении, Достоевский давал выход для творческой энергии, стремился найти свою дорогу в современном ему литературном движении и отгонял неотвязную материальную нужду. Второе—хлопоты о разрешении жить в столице, попытки вырваться на относительный простор и развязать руки, чтобы все силы посвятить литературному труду.

### III

Как сказано было выше, Достоевский работал в Семипалатинске над двумя произведениями: повестью „Дядюшкин сон“ и романом „Село Степанчиково и его обитатели“. Кроме того, в голове писателя неясно мелькали, смутно проносились какие-то сюжеты, ситуации, картины и образы, которые в общем можно назвать творческими заготовками, частью дорабатываемыми впоследствии, частью переплавляемыми в совсем другие художественные вещи, в сравнении с первоначальными замыслами, частью оставляемыми совсем без применения. Боль-

шая подготовительная работа творческого воображения протекала у Достоевского постоянно. Отсюда почти невозможно указать, когда начата им работа над созданием того или другого произведения, когда и где протекала она. Об этом и сам писатель порой не мог сказать ничего определенного.

Чтобы получить к июню 1859 года средства на уплату долгов и на выезд из Семипалатинска в Тверь, Достоевский вынужден был торопиться с окончанием повести и романа. Повесть „Дядюшкин сон“ была послана в „Русское слово“ в январе и напечатана в мартовской книжке. Роман „Село Степанчиково и его обитатели“ к апрелю готов был лишь на три четверти. Написанные главы Достоевский отправил 11 апреля в петербургскую контору редакции „Русского вестника“, откуда уже были получены им 500 рублей в виде аванса. К 15 июня, предполагаемому сроку выезда, Достоевский рассчитывал получить из редакции известие о том, принят ли роман и будет ли он напечатан, и в положительном случае — еще 200 рублей денег. Ни ответа, ни денег в Семипалатинске Достоевский не дождался. Перед самым выездом в Тверь он послал брату окончание романа для передачи в редакцию. Отсутствие известия о романе сильно волновало его. Ему казалось, что труд его не ценят, что вообще с ним мало считаются. Беспокоил его и вопрос о том, понравился ли роман, насколько он хорош, не нашла ли редакция роман слабым. Вместе с окончанием романа Достоевский послал в редакцию письмо, в котором выставил свои, как бы встречные, денежные условия, на которых роман мог быть напечатан в „Русском вестнике“. Ответ на это письмо он надеялся получить из редакции по приезду в Тверь. Предвидя недоброе, он просил брата, в случае отклонения выставленных требований, вернуть редакции 500 рублей, взять роман назад и предложить его Некрасову для журнала „Современник“.

Какова же судьба романа? И, следовательно, можно ли рассчитывать на получение гонорара? Будут ли средства на жизнь по приезде в Тверь, или семья останется без копейки денег, и придется снова просить брата и родных об одолжении, о поддержке, что так тягостно было для писателя. И, наконец, самое главное — какова общественная значимость и художественная ценность труда его, каковы творческие силы его? Вот вопросы, которые должны были занимать Достоевского, когда он ехал в Тверь.

25 августа, т. е. на седьмой день по прибытии, Достоевский получил от брата письмо из Петербурга с известием о том, что редакция „Русского вестника“ не приняла выставленных условий, предложила взять роман назад и возратить полученные авансом 500 рублей. Брат сообщал, что уплатит деньги, возьмет рукопись романа и привезет ее в Тверь, где и будет решено, что с ней делать далее.

Известие это крайне огорчило Достоевского. Долг брату вырос еще на 500 рублей. В кармане оставалось всего 12 рублей. Правда, Михаил писал, что сестра Александра дарит 100 руб-

лей на покупку шубы, деньги эти он привезет, и с ними можно протянуть месяц. Самым печальным для Достоевского было то, что роман, как видно, не понравился. Критически глядя на свое произведение, он писал брату 25 августа: „Я уверен, что в моем романе есть очень много гадкого и слабого. Но я уверен—хоть зарежь меня!—что есть и прекрасные вещи. Они из души вылились“<sup>17)</sup>.

Достоевский просил брата привезти роман в Тверь и собирался внести в рукопись исправления.

Михаил Михайлович приехал в ночь на 28 августа. „То-то была радость,—писал Достоевский в Семипалатинск своему бывшему сослуживцу.—Машина приходит в третьем часу утра, а станция в трех верстах от Твери. Я отправился туда ночью встречать. Много переговорили, да что! не расскажешь таких минут“<sup>18)</sup>. Братья не видались почти десять лет, простившись в Петропавловской крепости в момент отправления Достоевского в Сибирь, на каторгу.

Михаил Михайлович гостил в Твери 9—10 дней с недельным перерывом на поездку в Москву по своим делам. Во время этого перерыва Достоевский занимался исправлением рукописи за бракованного „Русским вестником“ романа „Село Степанчиково“. При свидании братья наметили план действий, направленных к освобождению Достоевского из тверской ссылки и получению разрешения на жительство в Петербурге. В разговорах Достоевский делился с братом замыслами и планами новых произведений.

Роман „Село Степанчиково“ братья решили предложить Некрасову для напечатания в „Современнике“. Вместе с рукописью этого романа Михаил Михайлович должен был передать Некрасову письмо Достоевского. До ссылки на каторгу отношения между Достоевским и редакцией „Современника“, которую возглавлял Некрасов, были недружелюбными. Руководители „Современника“, стремившиеся придать художественной литературе направление критического реализма, недовольны были тем, что в произведениях Достоевского: „Двойник“, „Господин Прохарчин“, „Хозяйка“ и др., написанных после романа „Бедные люди“, слабо оттенялись социальные условия жизни, не раскрывались общественные перспективы, не подсказывались читателям мотивы, цели и средства политической борьбы. Тонкий и глубокий психологический анализ становился в художественной работе Достоевского чем-то самодовлеющим. Белинский, высоко ценивший художественный талант Достоевского, отметивший роман „Бедные люди“ как новый шаг вперед в развитии русской литературы, неодобрительно отозвался в ряде статей, напечатанных в „Современнике“, о том направлении, которое принимала работа Достоевского после создания „Бедных людей“. Достоевский считал эти отзывы несправедливыми, чувствовал себя обиженным и отошел от „Современника“. Отношения обострились еще больше после того, как Некрасовым и кружком людей, группировавшихся тогда вокруг „Современника“,

были пущены пародии и эпиграммы на Достоевского. Теперь, после ссылки Достоевского, Некрасов относился к нему сочувственно и выражал готовность помещать его произведения в „Современнике“.

Сообщая Достоевскому свои впечатления от бесед с петербургскими литераторами, Плещеев писал ему в Семипалатинск 10 апреля 1859 года: „Некрасов предложил написать вам—не пришлете ли им чего, обещаясь заплатить 125 рублей за лист. Я ему сказал откровенно, что вы решились без крайней нужды не обращаться к ним, потому что они нехорошо поступили с вами. Некрасов, выслушав все, сказал, что если действительно в „Современнике“ было о вас дурно говорено, во время вашей ссылки, то это очень гадко; он сам сознает. Но что касается до вашего с ним собственно разлада, в бытность вашу здесь, то Некрасов отозвался, что причиной этому было наше (т. е. его и ваше) общее упрямство (его слова). Надеюсь еще возобновить этот разговор. Теперь же прибавлю только, что он говорил о вас с большим сочувствием“<sup>19</sup>).

Переслав при посредстве брата рукопись романа и письмо Некрасову в Петербург, Достоевский с нетерпением ждал ответа. Ему очень хотелось снова завязать связи с „Современником“. Появление романа в самом лучшем журнале того времени стало бы новым свидетельством наличия у писателя больших способностей к творчеству.

Вопрос о том, как будет принят роман, как отнесется к нему Некрасов, какое мнение об авторе сложится у руководителей редакции—все это было важно для Достоевского, важно для успеха нового, второго начала его писательской работы.

„Обещаешь писать 17-го, если увидишь Некрасова,—писал Достоевский брату 19 сентября.—Конечно, увидишь и потому жду сегодня твоего письма с крайним нетерпением. В сношениях с Некрасовым замечай все подробности и все его слова, и, ради бога, прошу, опиши все это поподробнее. Для меня ведь это очень интересно“<sup>20</sup>).

Некрасов, занятый подготовкой к выпуску очередной книжки журнала, не мог дать ответ так скоро, как хотелось Достоевскому и как он рассчитывал получить. В последующих письмах сказывается крайнее нетерпение писателя, вызываемое и вопросом об авторском престиже и тяжелым материальным положением.

„Что ж Некрасов?—спрашивает Достоевский брата в письме от 1 октября.—Уж не чванятся ли они? А может и просто еще не читал. Я слышал, что Некрасов страшно играет в карты. Панаеву тоже не до журнала и не будь Чернышевского и Добролюбова—у них бы все рушилось. Ты говоришь, что нужно подождать и что это даже деликатнее. Но, друг мой, уже довольно ждали. И потому поезжай, пожалуйста (я тебя убедительно прошу), сам к Некрасову, постарайся застать его дома (это главное) и лично поговори с ним об участи, которую они готовят роману“<sup>21</sup>).



Ответ Некрасова был получен в Петербурге 6-го и в Твери—9-го октября. Роман Некрасову и одному из ближайших сотрудников „Современника“, которому он дан был для прочтения, мало понравился и, очевидно, в силу тех же причин, по которым редакция „Современника“ и ранее неособенно заинтересована была в сотрудничестве Достоевского. Некрасов не отказывал в напечатании, но предлагал неприемлемые для Достоевского условия: 100 рублей с листа, вместо ожидаемых 120 рублей, и 300—500 авторских экземпляров. Начать печатание романа редакция „Современника“ бралась лишь со следующего года, что особенно невыгодно было для Достоевского, так как этим на целый год отодвигалась возможность выпустить роман отдельным изданием.

То, что редакция „Современника“ все же готова была напечатать роман, хорошо подействовало на настроение Достоевского. Вопрос об условиях оплаты был для него хотя и очень важным, но все же не столь болезненным и щекотливым, в сравнении с вопросом о писательском престиже. Чтобы поддержать этот престиж, Достоевский не согласился на предлагаемые Некрасовым условия. „Вот мое мнение,—писал он брату 9 октября,—по крайней нужде моей согласиться бы можно. 1000 рублей все же деньги и для меня большие. Но с этим сопряжено сильное нравственное унижение. Положим, что и с унижением можно бы согласиться, наплевать на них! Но вред впоследствии. Я совершенно лишусь всякого литературного значения впоследствии. Мне предложат 50 целковых. Даже в случае успеха „Степанчикова“,—ничего не будет. Современники нарочно не поддержат меня, именно чтоб я и вперед брал не много“<sup>22</sup>).

Достоевский с тревогой и мукой думал о том, что его талант не находит признания, что к его труду относятся поверхностно и пренебрежительно. Такое отношение к его произведениям обрекало бы на постоянную материальную зависимость и работу из-за куска хлеба, рассчитанную на вкусы тех, кто платит. Он готов был терпеть лишения и нужду, лишь бы не уронить свой писательский престиж и сохранить свое авторское лицо. В выборе предмета и путей работы он стремился отстоять свободу и независимость. Достоевскому хотелось, чтобы издатели и редакторы были заинтересованы в получении его работы более, чем он сам в предложении ее. Он верил в свои силы и оберегал свое будущее. Вера поддерживалась и усиливалась тем, что в творческом сознании писателя зрели планы, сюжеты, образы для больших художественных произведений, совершенно оригинальных и новых по качеству в сравнении с тем, что он видел в русской литературе. Вопрос для Достоевского был не только в продаже Некрасову романа „Село Степанчиково“, но и в сохранении за собой свободы в выборе творческого пути.

„Друг мой,—писал он брату,—я долго думал, и у меня явились несокрушимые, вернейшие проекты. Подождем немного, откажем Некрасову, и если нам удастся,—тогда нам честь и слава и главное независимость!“<sup>23</sup>).

Достоевский просил брата, не разрывая окончательно с „Современником“, не теряя надежды на то, что Некрасов напечатает роман на выставленных автором условиях, начать переговоры с Краевским, редактором журнала „Отечественные записки“, и Минаевым, редактором журнала „Светоч“. Предлагая роман редакциям трех журналов одновременно, Достоевский мог поставить себя в неловкое положение, но теперь главным для него было то, чтобы выдержать свои требования и условия. Он был очень заинтересован и в том, чтобы напечатать роман непременно в этом году и тем самым обеспечить себе право на отдельное издание в следующем году. Краевский принял условия, и роман „Село Степанчиково и его обитатели“ был напечатан в ноябрьской и декабрьской книжках „Отечественных записок“ за 1859 год. В одной из глав романа содержался нелепый для журнала „Отечественные записки“ разговор действующих лиц. Достоевский поставил условие, чтоб из этого разговора не выброшена была при печатании ни одна строчка.

Рвение, с которым Достоевский отстаивал свободу творчества, было полезно и хорошо, но лишь в отношениях с таким редактором, как А. Краевский, в отношениях с либералами и крепостниками или вовсе беспринципными людьми. То, что Достоевский, отчасти и вследствие мнительности и обидчивости, остался глухим к советам передовых людей своего времени, к советам и указаниям Белинского и редакции „Современника“, когда идейное руководство в ней принадлежало Чернышевскому и Добролюбову, принесло ему большой вред, привело к целому ряду ошибок в идейном содержании его произведений и понизило ценность и значение его творчества.

Чтобы упрочить свое положение в литературе и получить средства для работы в предстоящем году, средства для осуществления зреющих творческих замыслов и планов, Достоевский решил выпустить собрание своих сочинений, написанных до казни и ссылки и напечатанных в журналах, включив в это собрание и произведения 1859 года: „Дядюшкин сон“ и „Село Степанчиково“.

„Хочу писать свободно, — сообщал Достоевский брату 1 октября свои планы на будущее. — Этот роман с идеей и даст мне ход. Но чтоб писать его, нужно быть обеспеченным. Запродать его вперед и на это жить, — самоубийство... Но вопрос: где взять денег, чтоб обеспечить себя по крайней мере на год? Сообразив серьезно, я решил неотменно издать прежние свои сочинения и издать самому, а не продавать их, — разве дали бы очень много, но очень много не дадут. Слушай: положим, что сочинения пойдут медленно. Но для меня это ничего не значит. Мне нужно 120 или 150 рублей в месяц. Только бы это выбрать, следовательно, они будут кормить меня“<sup>21)</sup>.

Тот же мотив выражен и в письме к Тютчеву.

„Оно (издание сочинений), — писал Достоевский 4 октября, — могло бы меня обеспечить года на два, а при успехе и гораздо более, так что я, может быть, первый раз в жизни, имел бы

возможность, обеспечив себя, писать не на заказ, не для денег, не к сроку, а совестливо, честно, обдуманно, не продавая пера своего за кусок насущного хлеба“<sup>25</sup>).

Замысел издания сочинений для получения средств на писание большого романа возник у Достоевского еще в Сибири, о чем он и писал брату из Семипалатинска 9 мая 1859 года.

По сложившемуся в Твери плану издания в собрание должны были войти следующие произведения: в первую книгу — „Бедные люди“, „Неточка Незванова“, „Белые ночи“, „Детская сказка“, „Елка и свадьба“, „Честный вор“, „Ревнивый муж“, во вторую книгу — „Двойник“, „Дядюшкин сон“ и в третью — „Село Степанчиково“. Достоевский решил заняться исправлением сочинений и просил брата выбрать их из журналов и прислать в Тверь.

„Пришли их (произведения для первой книги) ко мне, как можно скорее, — писал он 1 октября, — я поправлю на печатном и, не задерживая, отошлю к тебе. Если к концу октября мы это все обделаем и все эти повести уже будут у тебя исправленные, то 1 ноября можно будет отдать в цензуру“<sup>26</sup>).

Ноябрь и первую половину декабря Достоевский отводил на переработку романа „Двойник“ и составление предисловия к нему. Писатель надеялся, что в исправленном виде „Двойник“, ранее не понравившийся читателям, произведет впечатление нового романа и вызовет к себе интерес.

„Если я теперь не поправлю „Двойника“, — писал Достоевский, — то когда же я его поправлю? Зачем мне терять превосходную идею, величайший тип, по своей социальной важности, который я первый открыл и которого был провозвестником“<sup>27</sup>).

В декабре Достоевский по намеченному им плану должен был начать работу над большим романом.

Из письма от 9 октября видно, что в составе собрания сочинений наместились изменения. Вместо переделки „Двойника“, Достоевский намеревался теперь же начать работу над созданием „Записок из мертвого дома“.

По новому плану выпуск сочинений намечался в одной или в двух книгах. Относительно издания Достоевский просил брата переговорить с издателями и книгопродавцами. Проект издания сочинений Михаил Достоевский одобрил и сейчас же принялся за осуществление его. 11 октября он писал в Тверь: „Сочинения твои собираю и скоро вышлю“<sup>28</sup>). 17 октября сочинения для первой книги были посланы. „Поправляй тебе в сколько душе угодно“, — писал Михаил брату. Тогда же начаты были переговоры с петербургскими издателями.

Найти издателя Достоевскому удалось лишь в декабре, т. е. незадолго до отъезда из Твери. Большую помощь в подыскании издателя оказали поэт Плещеев и литератор Милоков<sup>29</sup>). Право на издание купил за 2000 рублей московский издатель Н. Основский. Сочинения, исправленные и отредактированные в Твери, вышли из печати в марте 1860 года.

Кроме правки романа „Село Степанчиково“ и забот, связанных с его напечатанием, кроме подготовки собрания сочинений к изданию, Достоевский, живя в Твери, занят был и работой над новыми произведениями.

Еще во время пребывания на каторге у него возник замысел большого художественного произведения, в котором намечалась зарисовка оригинального жизненного типа, представленного в нескольких фазах развития. Позднее, уже по выходе из каторги, Достоевский так писал об этом поэту А. Н. Майкову, близкому стоявшему когда-то к петрашевцам:

„Не могу вам выразить, сколько я мук терпел оттого, что не мог в каторге писать. А между прочим внутренняя работа кипела. Кое-что выходило хорошо; я это чувствовал. Я создал там в голове большую окончательную мою повесть. Я боялся, чтоб первая любовь к моему созданию не простыла, когда минут года и когда настал бы час исполнения,—любовь, без которой и писать нельзя. Но я ошибся; характер, созданный мною и который есть основание всей повести, потребовал нескольких лет развития и я уверен, я бы испортил все, если бы принялся сгоряча, неприготовленный“<sup>30</sup>).

В этом же письме Достоевский, отметив торопливость и невыдержанность, обнаруженные в некоторых произведениях Тургенева и Писемского, развил мысль о том, что писателю никогда не следует торопиться с осуществлением возникшего творческого замысла, что писатель должен вынашивать этот замысел, стремясь придать ему возможно большую синтетическую силу.

„Нужно иметь побольше уважения к своему таланту и к искусству,—писал он,—больше любви к искусству. Идеи смолodu так и льются, не всякую же подхватывать на лету и тотчас высказывать, спешить высказываться. Лучше подождать побольше синтеза; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, выражающее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго и упорно“<sup>31</sup>).

На протяжении многих лет Достоевский вынашивал замысел большого романа, возникший в пору пребывания писателя на каторге.

Много раз—в 1857, 1858 и 1859 годах—писал он об этом замысле из Сибири своему брату Михаилу и Е. И. Якушкину, сыну декабриста литератору и собирателю народного творчества, принимавшему участие в облегчении судьбы писателя, когда тот отбывал солдатчину в Семипалатинске. Из писем к названным лицам видно, что Достоевский то принимался вплотную за осуществление замысла, то откладывал эту работу до более благоприятных обстоятельств и условий, откладывал и потому, что многое в намечающихся характерах и картинах было еще неясно ему, что для развития главного действующего лица писателю

нужно было сделать ряд новых наблюдений над русской жизнью и не в Сибири, а в самой России.

„Роман мой (большой),—писал Достоевский брату 18 января 1858 года,—я оставляю до времени. Не могу кончать на срок. Он только бы измучил меня. Он уж и так меня измучил. Оставляю его до того времени, когда будет спокойствие в моей жизни и оседлость. Этот роман мне так дорог, что сросся со мною, что я ни за что не брошу его окончательно. Напротив намерен из него сделать мой *chef d'oeuvre*. Слишком хороша идея и слишком много он мне стоил, чтоб бросить его совсем“<sup>32</sup>).

Достоевский приехал в Тверь с мыслью о работе над этим большим, как он называл его, романом. К последним числам августа, т. е. к моменту приезда в Тверь Михаила Достоевского, у писателя имелись замыслы еще трех романов. Кое-что из этих замыслов Достоевский пересказал брату при свидании в Твери. Из последующей переписки братьев видно, что, кроме большого романа, речь шла: во-первых, о романе с каким-то страстным элементом; во-вторых, о романе, где герой должен быть молодой человек, которого высекли и который попал в Сибирь; и, в-третьих, о романе-исповеди. Возможно, что намечавшиеся сюжеты этих романов представляли собой запутанный клубок и соприкасались как друг с другом, так и с большим романом.

В письме к брату из Твери от 19 сентября Достоевский обнаружил колебания по вопросу о том, за который из романов приняться. „Обдумываю роман,—писал он,—который тебе пересказывал, и вместе жаль большого романа. Ах, кабы деньги, да обеспечение“<sup>33</sup>).

Работа над большим романом, с которым у писателя связаны были какие-то исключительно важные задания, всегда обусловлена в письмах необходимостью материального обеспечения на полтора—два года. На осуществление других творческих замыслов Достоевский смотрел как на подступы к большому роману.

В приведенной выдержке из письма идет речь не только о большом романе, но и, по всей вероятности, о романе со страстным элементом.

В ответном письме из Петербурга от 21 сентября Михаил писал брату: „Вот ты теперь и колеблешься между двумя романами, и я боюсь, что много времени погибнет в этом колебании. Зачем ты мне рассказывал сюжет? Майков раз как-то давно-давно сказал мне, что тебе стоит только рассказать сюжет, чтоб не написать его. Милейший мой, я, может быть, ошибаюсь, но твои два большие романа будут нечто в роде *Lehrjahre und Wandlungen* Вильгельма Мейстера. Пусть же они и пишутся, как писался Вильгельм Мейстер, отрывками, исподволь, годами. Тогда они и будут так же хороши, как и два Гетевы романа. Впрочем, что я тебя учу! Делай как знаешь, только ради бога не колебайся, а успокой себя трудом. Мне бы очень хотелось, чтоб в Твери ты написал что-нибудь хорошее, из ряду вон“<sup>34</sup>).

Тяжелые материальные условия и неопределенность общественного положения мешали Достоевскому сосредоточиться и приняться за большую творческую работу. Нужда заставляла поскорее написать что-нибудь и продать в журнал. Для осуществления больших и сложных замыслов, имевшихся у писателя, требовалась длительная работа в спокойных условиях.

Одобрив план издания сочинений, о котором говорилось ранее, брат Достоевского считал все же, что для поднятия своего литературного престижа Достоевскому нужно написать что-либо хорошее, но поскорее, к моменту выхода новых номеров столичных журналов. Для этой цели Михаил считал вполне подходящим замысел романа со страстным элементом.

„Тебе непременно,—писал он в Тверь 6 октября,—к новому же году нужно написать что-нибудь эффектное. Всего лучше тот роман, который ты мне рассказывал“<sup>35</sup>).

Достоевский принял совет брата, согласился с тем, что к новому 1860 году нужно что-то написать. Однако ему не хотелось и откладывать осуществление больших замыслов. К 9 октября он нашел такое решение вопроса о творческой работе: написать к началу 1860 года „Записки из мертвого дома“ и попутно начать создание романа со страстным элементом, принявшего теперь несколько иное направление. Колебания Достоевского кончились. С 9 октября и до момента отъезда из Твери, а затем и в течение первого года жизни в Петербурге после ссылки Достоевский был занят выполнением этих двух художественных работ.

О начальных черновых набросках к „Запискам из мертвого дома“ Достоевский упоминал в первый раз в письме к Майкову 18 января 1856 года, т. е. еще в пору солдатчины в Семипалатинске. Он жил тогда в условиях настолько тяжелых, что им исключалась возможность писательской работы. Можно было лишь мечтать об этой работе, готовить некоторый материал для нее, записывая жизненные впечатления и наблюдения. Наблюдений и впечатлений, жгучих по своей остроте и новизне, у Достоевского было много. И прежде всего,—это были впечатления, вынесенные из каторжной тюрьмы. Достоевскому хотелось записать их, чтоб они лучше сохранились, хотелось и поделиться ими с близкими людьми. И в то же время он хорошо знал, что тема эта—запретная и опасная.

„В часы, когда мне нечего делать,—писал Достоевский Майкову,—я кое-что записываю из воспоминаний моего пребывания в каторге, что было любопытнее. Впрочем, тут мало чисто личного. Если кончу и когда-нибудь будет очень удобный случай, то пришлю вам экземпляр, написанный моей рукой, на память обо мне“<sup>36</sup>).

Ко времени приезда Достоевского в Тверь политические условия изменились. Пора николаевской реакции и все то, что с этой порой было связано, стали предметом критики, против которой правительство Александра II, растерявшееся после поражения в Крымской войне, на первых порах бессильно было бороться. художе-

ственная литература в массе своей приняла обличительное направление. Выступившая же на арену истории революционная демократия с Чернышевским во главе прямо шла на идейный штурм крепостничества и самодержавия.

Достоевский увидел, что теперь картины николаевской каторги будут как нельзя более кстати, что настал момент, когда можно выступить с книгой о мертвом доме, что теперь самое имя автора—политического каторжанина—повысит интерес и внимание к произведению.

„Обратил ли ты, дорогой мой,—писал Достоевский брату 9 октября из Твери,—внимание на последнее письмо мое, в котором я говорил тебе, что хочу написать „Записки из мертвого дома“ (о каторге)... Эти „Записки из мертвого дома“ приняли теперь, в голове моей, план полный и определенный. Это будет книжка листов в 6 или 7 печатных. Личность моя исчезнет. Это записки неизвестного; но за интерес я ручаюсь. Интерес будет наикапитальнейший. Там будет и серьезное, и мрачное, и юмористическое, и народный разговор с особенным каторжным оттенком (я тебе читал некоторые из записанных мною на месте выражений), и изображение личностей, никогда не слыханных в литературе, и трогательное, и, наконец, главное,—мое имя. Вспомни, что Плещеев приписывал успех своих стихотворений своему имени (понимаешь?). Я уверен, что публика прочтет это с жадностью“<sup>37</sup>).

Своим „Запискам“, как это видно из письма, Достоевский решил придать некоторые признаки, характерные для формировавшейся в те годы демократической беллетристики. Этими признаками были: внимание к жизни народа, жанр очерка, объективная форма изложения, при которой автор-наблюдатель оставался как бы в стороне, а на первый план выдвигались картины самой жизни, характеристика персонажей из народа при посредстве свойственной им и типичной для них народной речи и, наконец, сочетание в произведении серьезного, комического и трогательного элементов.

Михаил Достоевский напоминал брату, что и теперь, работая над „Записками“, не следует забывать о цензуре. „Пиши цензурнее,—предупреждал он в письме от 11 октября.—Схвати только художественную сторону мертвого дома“<sup>38</sup>).

Тема „Записок“ представлялась Михаилу Михайловичу опасной в цензурном отношении и особенно в том случае, если писатель поставил бы в центре своего внимания освещение каторги с политической стороны. Вот почему Михаил советовал брату ограничиться объективными зарисовками картин бытовой жизни на каторге, что и сделал Достоевский.

Работу над „Записками“ Достоевский продолжал и после отъезда из Твери. Первые главы „Записок из мертвого дома“ были напечатаны в сентябре 1860 года в газете „Русский мир“; полностью произведение появилось в журнале Достоевских „Время“ за 1861—1862 годы и, наконец, в 1862 году „Записки“ вышли в отдельном издании.

В том же письме от 9 октября Достоевский писал брату о другой работе, к выполнению которой он намерен был приступить в Твери,—о создании романа, в котором как-то объединились ранее зревшие в сознании писателя замыслы двух романов: романа со страстным элементом и романа-исповеди. Оказывается, что замысел романа-исповеди возник у Достоевского, как и замысел большого романа, во время пребывания на каторге.

„В декабре,—писал Достоевский брату,—я начну роман (но не тот—молодой человек, которого высекли и который попал в Сибирь). Нет. Не помнишь ли, я тебе говорил про одну исповедь-роман, который я хотел писать после всех, говоря, что еще самому надо пережить. На-днях я совершенно решил писать его немедленно. Он соединился с тем романом (страстным элементом), о котором я тебе рассказывал. Это будет, во-первых, эффектно, страстно, а, во-вторых, все сердце мое, с кровью положится в этот роман. Я задумал его в каторге, лежа на нарах, в тяжелую минуту грусти и саморазложения. Он естественно разделится романа на 3 (разные эпохи жизни)... В марте или в апреле, в каком-нибудь журнале, я напечатаю первый роман. Эффект будет сильнее „Бедных людей“<sup>39</sup>).

Замысел создания трилогии, высказанный в приведенном отрывке из письма, никогда не был полностью осуществлен Достоевским. Можно думать, что этот замысел расчленился на части и выполнен в последующем по частям. Возможно, что Достоевский приступил в Твери к работе над романом только со страстным элементом, и этот роман стал в конечном итоге „Униженными и оскорбленными“. В последующих письмах Достоевского имеется лишь одно упоминание о работе над этим произведением. В мае 1860 года Достоевский писал из Петербурга своей знакомой—актрисе Шуберт: „Нахожусь вполне в лихорадочном положении. Всему причиной мой роман. Хочу написать хорошо, чувствую, что в нем есть поэзия, знаю, что от удачи его зависит моя литературная карьера. Месяца три придется теперь сидеть дни и ночи“<sup>40</sup>). С первой книжки журнала Достоевских „Время“ за 1861 год стали печататься „Униженные и оскорбленные“. Произведением, начатым в Твери в 1859 году и написанным в 1860—1861 годах в Петербурге, и был, очевидно, этот роман.

Итак, за четыре месяца пребывания в Твери Достоевский сделал небольшие исправления в тексте романа „Село Степанчиково“; подготовил к изданию двухтомное собрание своих сочинений, сделав в них исправления; наметил план работы над „Записками из мертвого дома“ и приступил к написанию этого произведения; наметил план работы над трилогией и начал осуществление этого плана—работу над романом, который в конечном итоге стал „Униженными и оскорбленными“. Вопрос о том, какие части „Записок“ и романа написаны в Твери и какие—после переезда в Петербург, остается открытым. В письме из Твери от 11 октября имеется указание лишь на то,



что к работе над „Записками из мертвого дома“ Достоевский намеревался приступить с 15 октября. До этого момента ему мешала болезнь глаз.

„Писать начну (мертвый дом) после 15-го,—сообщал Достоевский брату,—у меня болят глаза, заниматься решительно не могу при свечах“<sup>41)</sup>.

В последующем жалоб на болезнь глаз нет. Очевидно, она прошла, и Достоевский приступил к работе.

Исправление сочинений не мешало работе над „Записками из мертвого дома“; оно могло быть сделано попутно, как и писал об этом Достоевский брату 9 октября: „Я их (сочинения) переправлю скоро, по печатанному, шутя, нисколько не отвлекаясь от писания мертвого дома“<sup>42)</sup>.

## V

Достоевский ехал в Тверь с таким намерением, что будет жить здесь недолго и вскоре по прибытии напишет просьбу о переезде в одну из столиц.

Еще за несколько месяцев до приезда писателя в Тверь местные власти получили предписание установить над ним секретный надзор<sup>43)</sup>. Надзор был установлен, и наблюдение было поручено приставу первой части г. Твери. Ничего компрометирующего писателя за время его пребывания здесь полицией и жандармами не было обнаружено. Это видно из того, что местная власть, в лице губернатора Баранова, относилась к Достоевскому вполне терпимо и поддержала его просьбу о переезде на жительство в Петербург.

В первые дни по прибытии Достоевский ничего не предпринимал для получения разрешения на въезд в столицы. Он ожидал в Тверь своего брата, чтобы вместе с ним наметить план действий. Братья возлагали надежды на 8 сентября. В этот день, в связи с объявлением совершеннолетия наследника престола, ожидалась новая амнистия осужденным за участие в политических делах. Ожидания оказались напрасными, так как никаких амнистий не последовало.

В первой половине сентября Достоевский написал шефу жандармов Долгорукову просьбу о разрешении на въезд в Петербург. Полагая, что III отделение сделает запрос в Тверь, и желая заручиться поддержкой тверского губернатора Баранова, Достоевский решил подать свою просьбу с ведома и через посредство губернатора.

„Ходил к Баранову с письмом к Долгорукову,—писал Достоевский брату 19 сентября.—Он мне обещал сделать все (т. е. не более как переслать письмо), но сказал, что напрасно я теперь подаю, что князя Долгорукова теперь нет в Петербурге, а в вояже он не доложит и поэтому советовал отложить мне до половины октября, когда князь вернется в Петербург. Тог-

да и просил притти с письмом. Рассудив, я полагаю, что это справедливо“<sup>44)</sup>).

Неособенно рассчитывая на Баранова и намереваясь заручиться вполне надежной, уже испытанной поддержкой, Достоевский искал возможности переслать письмо Э. И. Тотлебену с просьбой о помощи и содействии. Случай скоро представился. Михаил Достоевский сообщил брату, что А. Е. Врангель, через которого писатель пересылал из Сибири письма к Тотлебену, находится теперь в Петербурге.

22 сентября Достоевский послал Врангелю письмо, в котором описывал свою жизнь в Твери в самых мрачных красках, и просил помочь выбраться отсюда. „Теперь я заперт в Твери,—писал Достоевский,—и это хуже Семипалатинска. Хотя Семипалатинск в последнее время изменился совершенно (не осталось ни одной симпатичной личности, ни одного светлого воспоминания), но Тверь в тысячу раз гаже. Сумрачно, холодно, каменные дома, никакого движения, никаких интересов,—даже библиотеки нет норядочной. Настоящая тюрьма! Намереваюсь как можно скорее выбраться отсюда... Друг мой, посоветуйте мне что-нибудь. На вас очень надеюсь, что вы меня не покинете, особенно, если Эд. Ив. скоро приедет. Не знаю, когда писать. Как вы думаете? Скажите мне что-нибудь, и я вашему совету вполне последую“<sup>45)</sup>.

1 октября Достоевский получил от Врангеля ответ с выражением готовности немедленно передать письмо Тотлебену, только что приехавшему из Риги в Петербург. 4 октября было послано через посредство Врангеля письмо Тотлебену с просьбой поговорить с шефом жандармов Долгоруковым о разрешении на переезд из Твери в Петербург. Свою просьбу Достоевский мотивировал, с одной стороны, плохим состоянием здоровья и желанием воспользоваться в Петербурге советами врачей-специалистов и, с другой стороны, невозможностью заниматься в Твери литературным трудом, что тяжело отражалось на материальном положении.

В те дни, когда готовилось и отсылалось письмо к Тотлебену, общественное положение Достоевского в Твери несколько улучшилось. Здесь мимоездом остановился у своего брата давнишний знакомый писателя В. А. Головинский, тоже осужденный когда-то по делу петрашевцев и отбывший солдатчину в Оренбурге и на Кавказе. У Головинского были знакомства и связи в Твери. Он познакомил Достоевского с губернатором Барановым и местной интеллигенцией.

„Головинский здесь,—писал Достоевский брату,—и познакомил меня разом со всем здешним обществом. Я не намерен слишком поддерживать со всеми, но с другими невозможно. В провинции куда не спрячешься. Это мне отчасти и в тягость. Два-три человека есть хороших. Я очень хорошо познакомился с Барановым и с графиней. Она меня несколько раз убедительнейше приглашала бывать у них запросто по вечерам. Невозможно не быть у них“<sup>46)</sup>.

Воспользовавшись личным знакомством с губернатором Барановым, Достоевский решил свою просьбу о переезде в Петербург послать через посредство губернатора, но уже не шефу жандармов Долгорукову, а самому императору Александру II, надеясь, что если идти таким путем, то вопрос решится скорее. Ссылаясь на свой опыт, и Плещеев советовал Достоевскому действовать этим путем<sup>47</sup>).

На скорое и положительное решение вопроса, в случае обращения к царю через посредство губернатора Баранова, Достоевский надеялся, между прочим, и потому, что у Баранова были связи при дворе. Министр двора Адлерберг был двоюродным братом Баранова. Через Адлерберга Баранов и обещал передать царю прошение Достоевского. Между 10 и 18 октября прошение царю было послано.

Шаг этот при сложившейся обстановке оказался ненужным и только усложнил и затормозил решение дела. Тотлебен попросил о Достоевском шефа жандармов Долгорукова и начальника III отделения Тимашева. Жандармы дали согласие на жительство писателя в столице при условии, если он пришлет им теперь же свое письменное ходатайство об этом. Ответ Долгорукова и Тимашева Тотлебен сообщил Достоевскому 1 или 2 ноября. Достоевский, горячо поблагодарив Тотлебена в письме к нему от 2 ноября, послал 3 ноября просьбу Долгорукову и Тимашеву, но должен был уведомить их, что ходатайство послано также через Баранова к царю. Прошение к царю, посланное через Баранова, Адлерберг продержал у себя до конца ноября, после чего оно оказалось у того же Долгорукова. Между тем, 3 ноября, т. е. одновременно с прошением Достоевского и, вероятно, по просьбе последнего, к Долгорукову послал от своего имени ходатайство о Достоевском губернатор Баранов. По этому ходатайству Долгоруков сделал доклад царю. Достоевскому разрешено было жить в Петербурге, но с оставлением над ним тайного надзора. Долгоруков уведомил об этом решении Баранова секретной запиской от 23 ноября, а Баранов 25 ноября сообщил Достоевскому официальным письмом, что право на жительство в Петербурге ему дано<sup>48</sup>).

С 3 ноября и до получения записки от Баранова Достоевский был в большой тревоге.

„Ты не поверишь,—писал он брату 12 ноября,—как мне самому теперь тошно сидеть в Твери и даже не иметь никакого понятия о настоящем ходе моего дела“<sup>49</sup>).

Нетерпение Достоевского было столь велико, и так настоятельна была необходимость как можно скорее попасть в столицу, что он 21 ноября послал Долгорукову просьбу о разрешении приехать в Петербург хотя бы на несколько дней. Эта просьба оказалась ненужной.

Получив 25 ноября уведомление о предоставлении права на жительство в Петербурге, Достоевский совсем выехал из Твери только 19-21 декабря, т. е. ровно через 4 месяца после приезда сюда

Между 25 ноября и 10 декабря Достоевский, оставив семью в Твери, ездил на несколько дней в Петербург. Он осуществил, по всей вероятности, тот план, которым делился с Врангелем в письме от 4 октября.

„Если мне позволят приехать в Петербург,—писал Достоевский,—то первоначально я приеду один, без жены и остановлюсь у брата. Пробуду в Петербурге с неделю. Найму квартиру, все устрою, и тогда уже отправлюсь за женой и за Пашей“<sup>50</sup>).

Переписка Достоевского с братом Михаилом, прерванная после 25 ноября, возобновляется с 14 декабря. Из письма Михаила, которое было послано в Тверь 16 декабря, видно, во-первых, что Достоевский в этот день должен был приехать в Петербург уже с семьей, но из-за болезни отложил приезд на несколько дней и, во-вторых, что в Петербурге у писателя имеется квартира с мебелью и посудой и нанята кухарка. Приготовления к переезду семьи сделаны были в Петербурге не иначе как самим Достоевским при содействии родственников.

Достоевский жил в Твери в тот момент, когда между крепостниками и либералами шла здесь ожесточенная борьба по вопросу о крестьянской реформе. Как относился писатель к этой борьбе, с участниками которой он лично не мог быть знаком? С А. И. Европеусом, как бывшим петрашевцем, Достоевский был знаком еще до каторги. Можно думать, что Головинский познакомил Достоевского и с главой либеральной оппозиции—А. М. Унковским. Никаких следов этой борьбы, никаких откликов на события местной политической жизни в письмах Достоевского нет. Вряд ли можно и предполагать наличие этих следов. Писатель знал, что он под надзором, что его письма проходят через руки жандармов. Он страстно желал получить разрешение на переезд в Петербург и был особенно осторожен, опасаясь навлечь на себя новые подозрения и тем отодвинуть момент окончания своей ссылки. Лишь в письме Плещеева к Достоевскому от 20 декабря есть намек на тверские события, а именно—на выступление на дворянских выборах либеральной оппозиции с протестом по поводу запрещения обсуждать крестьянский вопрос. „Говорят, Европеус в Твери страшно ораторствовал,—писал Плещеев.—Опиши мне, что там было“<sup>51</sup>).

Но ответное письмо Достоевского не сохранилось. Других источников, из которых можно было бы почерпнуть сведения о связях Достоевского с местными людьми и событиями, найти не удалось.

Возможно, что Достоевский, наблюдая в Твери в пору подготовки крестьянской реформы яростную схватку между крепостниками и либералами „из-за меры и формы уступок“<sup>52</sup>) крестьянству, был равнодушен в отношении и к либералам и к крепостникам. И те и другие были помещиками, землевладельцами и душевладельцами и, следовательно, людьми внутренне чуждыми ему—разночинцу, демократу, профессионалу-литератору. Все же было бы не лишним установить, кто именно те

два-три хороших человека в Твери, о которых Достоевский упоминал в письме к брату. Можно думать, что он имел в виду Баранова и его жену, которых сейчас же и назвал в письме; на их содействие он рассчитывал, стремясь освободиться от тверской ссылки, в этом смысле и называл их хорошими.

Наблюдения над тверской жизнью стали составной частью исключительно богатой и разнообразной по содержанию сокровищницы жизненного опыта Достоевского. Черпая в последующей творческой работе материал из этой сокровищницы, Достоевский воспользовался и тверскими наблюдениями и воспоминаниями.

Прямые упоминания Твери имеются в романе „Идиот“, написанном в 1868 году. Один из второстепенных персонажей этого романа, генерал Иволгин, вспоминает о своей офицерской службе в Твери. Иволгин—художественный тип „благородного“ лгуна и пьяницы. Только что познакомившись с князем Мышкиным, он говорит, что знал его отца по службе в Твери и был лучшим его другом, на что Мышкин деликатно замечает, что его отец, кажется, и не бывал никогда в Твери<sup>53</sup>).

Встретившись с Аглаей Епанчиной, Иволгин говорит ей, что помнит ее маленькой девочкой и был знаком с ее родителями. На этот раз кое-что из слов Иволгина оказалось правдой. Аглая подтверждает, что Иволгин молодым офицером бывал у них, когда они жили в Твери, вспоминает и о тех игрушках, которые он приносил ей<sup>54</sup>).

В этом случае Тверь приведена писателем без каких бы то ни было местных признаков. С таким же успехом здесь мог быть назван любой из губернских городов России. На Твери Достоевский остановился только потому, что этот город он хорошо знал.

Действие другого романа Достоевского—„Бесы“, написанного в 1871—72 годах, происходит в губернском городе, которому не дано названия. Писатель стремился придать событиям, описываемым в романе, обобщающий смысл, так как считал их типичными для России в целом и возможными в шестидесятых годах в любом из ее губернских городов.

Ближайшим поводом к написанию романа послужил судебный процесс над анархистом Нечаевым, создававшим подпольные группы—„пятерки“—и организовавшим в Москве убийство члена одной из „пятерок“, студента Иванова, на которого пало подозрение в измене. Стремясь в своих романах к широким и глубоким обобщениям, к созданию образов и сюжетов общерусского значения, Достоевский избегал прямого сходства образов с прототипами и привнесения в сюжеты и картины местных признаков. Изображаемые в романах события и герои, в силу особенностей творческой манеры писателя, становились целиком плодами художественного вымысла, результатами синтеза широкого круга явлений и множества наблюденных писателем лиц. Отсюда, за редкими исключениями, становятся особенно труд-

ыми и гипотетическими поиски прототипов к образам Достоевского и событий местного характера, как жизненной канвы к сюжетам его романов. Это относится и к роману „Бесы“, в котором с явно реакционной позиции отражено народническое движение шестидесятых годов.

Однако в топографии губернского города, в котором происходит действие этого романа, есть признаки, которые могли быть подсказаны писателю тверскими наблюдениями и фактами тверской действительности.

Город разделяет на две части большая река, через которую наведен плашкоутный, т. е. понтонный, мост. Это похоже на г. Тверь, разделенный течением Волги, которую в бытность здесь Достоевского переходили и переезжали по плашкоутному мосту против городского сада. Заречье, где изображен одиноко стоявший рядом с огородами деревянный домик, в котором жили герои романа Лебядкины, напоминает часть Твери—Заволжье, за которой начинались огороды. На окраине города, в соседстве с небольшой рощей, рисуется фабрика купцов Шпигулиных с 900 рабочих, возмущенных плохим обращением со стороны фабричной администрации. В качестве реалии к этой картине можно указать на тверскую текстильную фабрику Каулина, основанную в 1854 году и находившуюся тогда на окраине Твери.

Рисуя образы губернатора фон-Лембке, выходца из остзейских дворян, чужого в русской действительности, и его честолюбивой и тщеславной супруги Юлии Михайловны, Достоевский мог воспользоваться некоторыми чертами характеров тверского губернатора графа фон-Баранова и его жены, до замужества кн. Васильчиковой. В год пребывания Достоевского в Твери Баранов оказал покровительство нескольким бывшим петрашевцам: он ходатайствовал перед III отделением за Ф. Г. Толя, В. А. Головинского, Ф. М. Достоевского. Возможно, что это было сделано не без влияния супруги губернатора графини Барановой, которая, как это видно из тверских писем Достоевского, хорошо отнеслась к нему и приглашала его бывать у них по вечерам запросто. Не стремилась ли Баранова, как и Юлия Михайловна в романе „Бесы“, „приручить“ политических? Конечно, эти сопоставления основаны только на догадках. Но, может быть, и они могут пролить некоторый свет на творческую работу писателя.

---

## СТРАНИЦЫ К БИОГРАФИИ Г. Е. НЕЧАЕВА

В самой глухой части дореформенной Тверской губернии, куда, по бездорожью, начальство заглядывало не более одного раза в год (по санному пути); где произвол крепостников фактически не знал никаких ограничений,—в сельце Харитонове, Корчевского уезда, находился старый стекольный завод помещика Ладыженского. На заводе работали крепостные крестьяне большой вотчины этого помещика, отбывая тяжелую барщину. Работали бесплатно, понуждаемые бесчеловечными побоями приказчиков и надсмотрщиков. Имелись на заводе и вольнонаемные рабочие. Они набирались из беглых людей или государственных крестьян, а также мещан—мастеров стекольного дела. При расчетах владелец завода обычно их обсчитывал, а то и вовсе не платил им ни копейки; беглых же отдавал в руки полиции. Хозяйские лабазы, где стекольщики покупали продукты питания, торговали значительно дороже обычных цен и служили в руках заводчика дополнительным средством наживы.

13 апреля 1859 года у Е. П. Нечаева, мастера-стекольщика, работавшего на заводе Ладыженского, родился сын Георгий. В церковной книге за этот год мы нашли следующую запись о рождении будущего певца „мучеников гуты“:

„Родился 13 апреля, крещен 14 апреля. Получил имя при крещении Георгий. Родители: Владимирской губернии и того же города третьей гильдии купец Ефим Петров и законная его жена Ульяна Трифонова. Оба церковного вероисповедания. Восприемники: Московской губернии г. Клина мещанин Василий Трифонов и Корчевского купеческого брата Федора Федорова жена Наталья Алексеева“<sup>1)</sup>.

Отец писателя Ефим Петрович с детства работал на стекольных заводах. На заводе Ладыженского он познакомился с родственницей приказчика Михаила Николаевича Убожкова, Ульяной Трифоновной. Молодые люди полюбили друг друга. Но родители Ульяны не соглашались выдать свою дочь, для которой мечтали составить хорошую партию, за простого рабочего. По знакомству, Ульяна Трифоновна достала своему будущему мужу гильдейский документ. Так потомственный рабочий стал числиться купцом третьей гильдии, оставаясь таким же стекольщиком, каким был раньше<sup>2)</sup>.

После реформы 1861 года дворянские фабрики и заводы пережили острый кризис. Многие из них закрылись, другие пере-

шли в руки новых владельцев—капиталистов. В 1862 году прекратил свое существование завод помещика Ладыженского. Для Ефима Нечаева начались годы скитаний по заводам в поисках подходящей работы. А семья, между тем, росла; с нею вместе росла и нужда, которая с каждым годом давала себя чувствовать все сильнее и сильнее. В 1865 году родители оказались вынужденными отдать старшего сына Егора (Георгия) на воспитание к замужней, но бездетной тетке—Анне Трифоновне Убожковой. В то время Убожковы жили на стекольном заводе А. И. Ге в селе Чирикове, Корчевского уезда.

Находясь у тетки, Егор не знал недостатка ни в пище, ни в одежде. Но семейные неурядицы, невольным свидетелем которых он стал, отравляли существование впечатлительного мальчика.

„Моя милая тетя,—вспоминал в автобиографии писатель,—выданная силой почти ребенком за больного, неспособного к супружеской жизни старика замуж, скоро духовно изуродовалась и вела себя по отношению к дяде казаком-разбойником. Кроме придилок к нему, она пристрастилась к водочке и палочной расправе в промежутки била бедного дядюшку чем непопада. Я приходил в ужас, метался, как угорелый, ревел благим матом. Целовал и кусал руки тети, защищая дядю. Это помогало не всегда. Чаще всего она оставляла учить дядю и принималась за меня. Хватала плетку, ремень или еще что подходящее и успокаивала меня иногда до потери сознания, отчего я сделался робко-пугливым, застенчивым“<sup>3)</sup>.

В рассказе „У заставы“ писатель воспользовался своими воспоминаниями о жизни у тетки, чтобы изобразить безотрадное существование юного „мученика гуты“:

„Развоевалась тетя и жестоко обидела дядю. Исцарапала ему лицо, голову покрыла шишками. Кстати упрекнула меня—„объедаю“!..

— Варвар! Черномор проклятый!—отчаянно кричала тетя.—Демон! Отдай мою загубленную жизнь! Отдай, или я твою из тебя вырву!—не унималась, носясь по комнатам с чубуком за дядей, который несвязно лепетал:

— Господи! Аня! Милая Аня! Ну, ты ударь, больней ударь. Ударь, наплевать, я этого стою! Только не блажи, не собирай народ! Услышат—бог знает, что могут подумать!

Я не выдержал, побежал к соседу...“<sup>4)</sup>.

Три года прожил Егор у тетки. Но нужда в семье Нечаевых, избавившихся от лишнего рта, не убывала. Вот почему Ефим Петрович задумал отдать сына в гуту. „Незаметно подрастет,—рассуждал он,—станет на ноги, будет хорошим мастером и своим заработком поможет семье выбиться из нищеты“. Так был решен вопрос о выезде Егора к отцу для поступления на работу<sup>5)</sup>.

С радостью покидал мальчик семью, в которой тяжело прошли его детские годы. С нетерпением ожидал он давно желанной встречи с близкими родными.

„По мере возраста,—писал Георгий Ефимович в автобиографии,—чаще и чаще какая-то жгучая грусть закрадывалась в мое



сердце, и я нередко под влиянием дум, найдя уютный уголок, безутешно плакал и горячо молился богу, чтобы он помог мне поскорее увидаться с моими милыми братьями и сестрами, которых, по словам тети, было у меня довольно изрядное количество“<sup>6)</sup>).

Но жизнь в родительском доме не оправдала надежд мальчика. Братья и сестры встречали его как чужого, да и отец — не так, как бы этого хотелось Егору. А впереди ждала жуткая встреча с гутой. — встреча, к которой мальчика усиленно готовили.

В конце сентября 1868 года на руках отца сонный Егор попал в душную гуту. Впоследствии, в автобиографическом рассказе „Как я начал свою карьеру“, Нечаев описал свои впечатления от первого столкновения с работой в качестве гутаря.

„Гута похожа на большой кирпичный сарай, выкрашенный дегтем... Главное в гуте — стеклоплавильные огромные шайки-печи. В шайках этих множество отверстий, из которых то и дело вылетают длинные языки пламени... Летом гута, что твоя Сахара: зной достигает до шестидесяти пяти градусов. В это время большинство рабочих через каждые десять минут, ночью и днем, бегают к грязному пруду; когда очень уж некогда — к большому вонючему чану и бросаются в воду во всем... Головные боли, воспаление глаз, резь живота, чесотка и другие кожные болезни преследуют хрусталея неотступно в летние дни. Зимой гута, что твой Северный полюс... Рабочая армия стеклянщиков, одетая и зимой налегке, отдается во власть мороза, метели и сквозняков... Гута всегда полна грома, крика, драки, плача, отборной брани, редкой похабщины. В этот храм труда и грусти принес меня отец в одну из дождливых ночей, — принес сонного, с проклятием в душе. Принес и обрек на с виду маленький, неважный пост — гутовского хлопца“<sup>7)</sup>.

Работа в гуте была крайне тяжелой. Рабочий день длился 12-18, а иногда и 20 часов, и так круглый год, без праздничных перерывов, исключая рождество и пасху. Приходилось поднимать большие тяжести, таскать воду, бегать за мастерами и непременно следить за варкой стекла. За малейшую оплошность — зуботычины, щелчки и подзатыльники. „Засыпал на ходу, стоя возле уборной, сидя с мурпошкой во рту, — очевидно, вспоминая свое горькое детство, — писал Георгий Ефимович в другом своем рассказе, — засыпал на мусоре, на горячем бою, в „опечке“<sup>8)</sup>.

Недолго Егору пришлось работать „хлопцем“. Через пять дней ему „залили за голенище расплавленного стекла“<sup>9)</sup>, и на несколько месяцев мальчик вынужден был оставить гуту. Больного опять отвезли к тетке. Здесь он научился читать и писать. Давно мальчик мечтал об этом. Не раз он просил тетку отдать его в ученье, но все просьбы были напрасными.

В одном из рассказов Нечаев рисует такую сцену:

„— Тетя, милая, — обратился я к тете, — отдайте меня учиться к Розалии Ивановне.

— Это что за причуды? — сурово спросила тетя.

— Родненькая! — упраскивал я. — Ваня Сибирский и Гриша Симонов начали.

— Подождешь! Твой отец не наковал еще денег, а у дяди полтинников не ахти сколько...<sup>10)</sup>.

Теперь мысль выучиться грамоте безраздельно овладела сознанием Егора. Удалось уговорить и тетку. Мальчика отдали учиться к немке за пятьдесят копеек в месяц. Об этой недолгой поре писателя до конца своей жизни сохранил самые лучшие воспоминания. Надо полагать, что именно о себе писал Нечаев следующие строки:

„В школе я чувствовал себя как дома. Учительница, хотя и немка была, а по-русски говорила лучше всех. Рассказы ее были один другого интереснее. От них на душе делалось сладко-больно и грустно-радостно.

О „Гадком утенке“ и „Девочке со спичками“ я до сих пор помню. Помню, как она однажды, такая милая, добрая, проводящая нас из школы и каждого матерински глядя по волосенкам, приговаривала:

— Вот, ребятки, я вас полюбила, как своих. Учю и стараюсь сделать из вас не только грамотеев, но и честных работников. А вы вырастаете, разлетитесь, кто куда, и забудете вашу старушку-учительницу.

— Нет, Розалия Ивановна, я не забуду вас никогда!—хлюпая носом и глотая слезы, ответил я.

И я свое слово сдержал...<sup>11)</sup>.

Недолго продолжалось ученье. Нога поджила—пора было приниматься за работу. Отец с нетерпением ожидал возвращения Егора. В конце 1868 года будущий писатель покидает корчевскую тетку, расстается со школой и отправляется на завод к отцу<sup>12)</sup>.

Опять душная гута и изнурительный труд... Но теперь в свободные минуты юный гутарь сидит за чтением. Читает он все, что только попадает под руку, что можно купить за пятак у коробейников... Однажды мать принесла ему с „господского двора“ книжку (один из номеров журнала „Неделя“.— *II. II.*) со стихами и биографией Сурикова. Книжка произвела на Егора исключительное впечатление. Под влиянием суриковских стихов у него возникает мысль о собственном творчестве.

„... Я пришел в неописуемый восторг...—рассказывает в автобиографии Нечаев,—я задыхался от радости и приходил в тупик от удивления, что такие дивные простые песни написал не барин, а простой малограмотный мужик... „Значит, их можно писать и мне?—в сотый раз я спрашивал себя.—Да, можно!“<sup>13)</sup>.

С 11-12-летнего возраста<sup>14)</sup>, тайком от окружающих, Нечаев начинает слагать стихи о тяжелой, бесправной жизни таких же, как он, рабочих-стекольщиков, о мрачной гуте...

\* \* \*

... Когда Егору исполнилось 18 лет, он лишился отца. Ефим Петрович был убежденным поборником справедливости, которую тщетно искал на протяжении всей своей безрадостной жизни. Он не мог мириться с существовавшими на заводе порядками,

не терпел придирок к рабочим, заступался за тех, кого преследовала администрация.

Не раз по этой причине Ефим Петрович вынужден был с огромной семьей переселяться с завода на завод. Не раз его увольняли под разными предлогами с работы, как беспокойного, „вредного“ человека. В 1872 году он был уволен за то, что осмелился „наругать“ администрации завода, разоблачая грабеж рабочих. На другом заводе, за частую защиту материальных интересов рабочих, Ефим Петрович приобрел даже репутацию „буяна“. Но этот же „буян“, суровый, непреклонный человек, проявлял отцовскую заботу о „хлопцах“, которые попадали к нему, как прекрасному мастеру, в ученье.

Однажды (это было в 1877 году), угрожая уходом, Ефим Петрович стал требовать от хозяина повышения заработка подросткам. Дело дошло до полиции. Под конвоем двух полицейских „буян“ был отправлен в Корчеву. Здесь следы его неожиданно потерялись... Что случилось с Ефимом Петровичем? Ходили слухи, что подкупленные заводладельцем полицейские или утопили его в Волге, или убили в лесу...<sup>15)</sup>

Этот скорбный эпизод дал материал Г. Е. Нечаеву для замечательного рассказа „Глаза“. В другом, широко известном, рассказе „Мученики гуты“ писатель вывел своего отца в образе мастера Ефима Чекина.

Пример отца всегда был в памяти Нечаева. Георгий Ефимович сам стал представителем непокорных. Борясь с заводской администрацией, он решил написать заявление высшему начальству (министру внутренних дел) „о тиранстве над рабочими“. В 1885 году заявление было написано и отослано. Прошел год ожиданий и радужных надежд. Однако скромное начинание Георгия Ефимовича привело к совершенно неожиданному для него результату. „От скандала“ Нечаеву предложили бросить работу, а на заводе все осталось попрежнему<sup>16)</sup>.

Так сама жизнь разрушила слепую веру писателя в справедливость „высшего начальства“. Нужно было становиться на другой путь защиты интересов рабочего класса—на путь свержения власти эксплуататоров. В творчестве Георгия Ефимовича зазвучали призывы к революционной борьбе:

В адеком пекле, в тучах пыли,  
Под напев стекла и стали,  
За работой, на заводе  
Песен звонких о свободе  
Мы начало положили...

По-настоящему творчество Нечаева развернулось после Октябрьской социалистической революции.

Продолжая петь свои песни, Георгий Ефимович создает ряд выдающихся повестей и рассказов, преимущественно из рабочей жизни, которые привлекают к себе внимание широкого читателя.

Имя Нечаева — одного из талантливых зачинателей рабочей поэзии—вошло в историю русской литературы.

Умер Георгий Ефимович в Москве 23 ноября 1925 года.

# РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЦАРСТВА САВИННЫХ

(В. А. Слепцов в Останкове)

Среди революционно-демократических писателей шестидесятих годов XIX века одно из наиболее видных мест занимает Василий Алексеевич Слепцов, „крупный, оригинальный талант“, по характеристике А. М. Горького.

Слепцов родился в 1836 году в старинной дворянской семье. Отец его был состоятельным помещиком, мать—польской аристократкой. Получив блестящее домашнее воспитание, Слепцов поступил в привилегированное учебное заведение—Пензенский дворянский институт. Будучи студентом, он серьезно увлекается естественными науками, философией, в частности, атеизмом, материалистическими идеями.

Усвоенная еще в детстве привычка—ничего не принимать на веру, ко всему относиться критически, все подвергать практической самопроверке, привела его к неслыханному поступку, который всполошил весь институт.

Однажды во время обедни в институтской церкви, когда студенты пели „Символ веры“ („Верую во единого бога отца...“), Слепцов, поднявшись на амвон, громогласно воскликнул: „А я не верую!“ На допросе, оправдывая свой поступок, он заявил, что хотел проверить сомнение, действительно ли существует бог, и считает свой опыт удачным:

— Раз меня бог не убил, значит, он не существует.

„За непристойное и кощунственное поведение во время святой литургии“ Слепцова исключили из института. Только благодаря влиятельным аристократическим связям родителей к нему не применили более сурового наказания.

Пятнадцатилетний юноша, энергичный, деятельный, остро ощущает, что он в своей, дворянской, среде—отщепенец. Он решительно порывает с этой средой. Вопреки родительской воле, поступив на медицинский факультет Московского университета, Слепцов заявил свои права на самостоятельную жизнь, несколько не похожую на праздную, паразитическую жизнь представителей дворянства.

Неукротимая жажда полезной трудовой деятельности сблизил его с бодрым, жизнерадостным, целеустремленным поколением революционных разночинцев. Усваивая их боевую идею-

логию, Слепцов на первых порах недостаточно ясно разбирался в общественных группировках шестидесятых годов, не всегда отчетливо мог отличить левую фразу от революционного дела, людей подлинно революционных от людей, боящихся революции, прикрывающихся разговорами о необходимости облегчения народных бедствий и страданий. Сблизившись в 1860 году с членами литературного салона графини Салиас-де-Турнемир—Евгением Салиас, Кельсиевым, Аргиропуло, Покровским, людьми, оппозиционно настроенными к самодержавию, принимавшими участие в студенческих „бунтах“, но не имевшими устойчивых, твердых взглядов на народное движение, Слепцов горько разочаровался: он нашел не то, чего искал. Впоследствии, сделавшись писателем, он пошел гораздо дальше либеральных устремлений своих прежних друзей, доказывая необходимость не филантропических действий, не мелких, частных реформ, а социальной революции, ниспровергающей существующий строй и возводящей прекрасное здание новой жизни.

Осенью 1860 года, по поручению Общества любителей российской словесности, напутствуемый выдающимся исследователем живого великорусского языка, писателем и большим знатком народной жизни В. И. Далем, Слепцов отправился в длительное путешествие по Владимирской губернии. Он предполагал заняться собиранием произведений народного творчества—песен, сказаний, легенд; изучением обрядов, обычаев, примет и суеверий. Но первое же столкновение с действительностью расширило и усложнило эту задачу. Дорожные впечатления дали Слепцову обильный фактический материал о необычайно тяжелом положении рабочих и крестьян. Стремясь познать причины, обусловившие правовое и экономическое закабаление трудящихся, он пришел к убеждению о необходимости тщательно расследовать хозяйственную деятельность их поработителей<sup>1)</sup>. Побывав на строительстве Московско-Нижегородской железной дороги, Слепцов, на основании собранных материалов, создает цикл очерков „Владимирка и Клязьма“. Эти очерки, напечатанные в умеренно-либеральном журнале „Русская речь“, издававшемся графиней Салиас-де-Турнемир, были восторженно встречены в демократических и разночинческих кругах. С точностью ученого-экономиста писатель разоблачил в очерках тайную механику, к которой прибегали фабриканты и концессионеры железной дороги в своей беззастенчивой эксплуатации рабочих.

Задолго до появления знаменитого стихотворения Н. А. Некрасова „Железная дорога“ Слепцов в картине, преисполненной гневного сатирического пафоса, показал армию голодных, нищих, страдающих от повальных болезней, насилий и обманов—рабочих, строителей железной дороги.

Возвратившись из путешествия, Слепцов поселяется в Петербурге. Очевидно, насыщенность очерков социальными и политическими обличениями послужила поводом к сближению молодого литератора с Чернышевским, Добролюбовым, Некрасо-

вым, Салтыковым-Щедриным, группировавшимися вокруг „Современника“. Эти писатели, настойчиво бичевавшие крепостнические порядки, болтовню либералов, утверждавшие революционный демократизм, оказали огромное влияние на все последующее творчество Слепцова. Оно стало еще более политически заостренным, еще более социально направленным. Этому способствовало и влияние, шедшее от сатирического журнала „Искра“, в котором писатель сотрудничал продолжительное время.

Таким образом, Слепцов в начале шестидесятых годов окончательно сформировался, как боевой, революционно-демократический писатель-сатирик. Уже самыми ранними своими произведениями он выдвинулся в ряд первоклассных очеркистов второй половины XIX века. Но наибольшего мастерства, живости и красочности в изображении событий, виртуозности в воспроизведении народной речи, наиболее полного расцвета сатирического дарования он достиг в „Письмах об Осташкове“. Опубликованные в некрасовском „Современнике“, они имели шумный успех.

Очерки об Осташкове обратили на себя внимание читателей не только остротой поставленных вопросов, но и самой темой, которая являлась большой новостью для тогдашней беллетристики, рисовавшей преимущественно крестьян и положение русской деревни в период „освободительной реформы“. Показав в „Письмах об Осташкове“ жизнь и нравы уездного города, быт мелкой буржуазии, хищничество промышленников и купцов, Слепцов поднял тем самым новую тему.

Ни один из уездных русских городов не пользовался в шестидесятых годах такой громкой известностью, как Осташков. Его считали каким-то „благодатным островком в океане всероссийской некультурности“. Возникшие в Осташкове сиротский дом, богадельня, публичная библиотека, общественный банк, школа были исключительным явлением в жизни не только уездных, но даже губернских русских городов. Узаконенными благодетелями и защитниками интересов города считались местные магнаты Савины, которые в течение полувека состояли здесь городскими головами. Осташков, неожиданно получивший всероссийскую известность, посещали хроникеры, журналисты, писатели, туристы. Они в восторженных реляциях описывали это „русское Эльдorado“, „Вторую Венецию“.

В конце 1861 года Слепцов также отправился в Осташков, прожил там несколько недель, тщательно изучая действительную жизнь города. При помощи строгого анализа хозяйственной деятельности фабрикантов Савиных и многочисленных фактов, характеризующих жизнь трудового населения, он глубоко проник в самую суть „истории цивилизации Осташкова“ и убедительно доказал, что внешний лоск, невиданное благоустройство города есть не что иное, как показная дешевая филантропия нескольких угнетателей, прикрывающая их грабительскую политику.

В предисловии к „Письмам об Осташкове“, сравнивая Осташков с автоматической игрушкой, Слепцов замечает: „Здесь нет жизни, здесь только механизм, пружина и колесики“. Но для того, чтобы вскрыть движущие силы, которыми управляется сложный механизм городской жизни, писателю потребовалось много настойчивости и терпения, потребовались некоторые тактические хитрости и приемы.

Прежде всего Слепцов столкнулся с необычайной подозрительностью осташковцев ко всем тем посетителям, которые пытаются поглубже заглянуть в городские дела и заведения. Он вынужден был принять вид беспечного созерцателя красоты и „дикивинок“ города. К посетителям, не имеющим никакого отношения к городским властям и нигде не состоящим на службе, приехавшим ради своего удовольствия, осташковцы относились благосклонно; более того, они становились необыкновенно любезными, откровенными, до невозможности болтливыми. Рассказывая о городской жизни, они непременно впадали в пошлейшее, безобразнейшее хвастовство, позволившее Слепцову заметить, что Осташков и его учреждения для них какой-то пункт помешательства. Пытаясь установить, чем же хвастаются осташковцы, Слепцов пришел к убеждению, что нет в городе ничего такого, чем бы они не преминули похвалиться перед посетителем:

„Хвалится осташ своим озером, паникадилами, рыбою, танцами и павильонами. Чем-нибудь да уж непременно хвалится. Это здесь какая-то повальная болезнь. Кто поразвитее, те обращают ваше внимание на банк, библиотеку, театр и кринолины, указывая в особенности на последние (т. е. театр и кринолины), как самые очевидные и несомненные признаки той высокой степени цивилизации, на которой стоит Осташков. Хвалится осташ своим городом, больше по привычке хвалится, потому что похвальбу своим городом он с детства привык считать своей священной обязанностью и знает, что все его хвалят“.

Чтобы расположить посетителя к городу, поддержать благоприятные слухи, в Осташкове издавна пользовались особым способом ознакомления посетителя с городскими достопримечательностями. Для него отводили хорошую, со всеми удобствами, комнату на постоялом дворе, подавали экипаж с самым преданным „своему родному Осташкову“ ямщиком. Ямщик вез посетителя по главной—Миллионной—улице, единственной улице в Осташкове, вымощенной булыжником. На Миллионной, как указывает само название, жили наиболее состоятельные лица—заводчики, крупные промышленники, купцы. Поэтому посетителю здесь особенно бросалось в глаза обилие двухэтажных каменных домов, с торговыми лавками, всевозможными пристройками для складов. С Миллионной ямщик поворачивал на городскую площадь, показывал бульвар, прудок с островами, гуляющих дам в модных костюмах, пожарную команду, общественную библиотеку, телеграф. Объехав площадь и выказав своему седоку все каменные домики, чем-нибудь замечательные, ямщик направлялся опять на Миллионную (она пересекала площадь). Немного не

доезжая городского сада, он обращал внимание седока на здание казарменного вида с огромной вывеской: „Дом благотворительных заведений общественного банка Савина“.

Если такой объезд с целью осмотра города совершался под вечер, посетитель мог увидеть в саду толпы гуляющих дам и кавалеров, изящные наряды, а около входа в сад—экипажи, кареты. До его слуха доносились звуки музыки и слова торжественного гимна:

„Славься, город наш Осташков,  
Славься, город наш родной...“

От конца в конец России  
Ты отмечен уж молвой.  
Из уездных городов России  
Ты стоишь передовой...“ 2).

Догадавшись, сколь неотразимое впечатление произвело все это на седока, ямщик хвастливо сообщал, что у них в городе имеется оркестр, хор из кузнецов, что все осташковцы—не какие-нибудь мещане, а граждане и все „грамоте знают“, он, например, прочел „Трех мушкетеров“. „Боже, боже мой! И кто бы мог поверить? Осташков, уездный город... Ямщики романы Дюма читают, кузнецы гимны поют... благотворительные заведения... банк... воспитательный дом!.. И Европа этого не знает!..“—бессвязно произносит совершенно зачарованный посетитель. Он вдруг проникается каким-то необычайным благоговением к „великому магу и волшебнику, велением которого творятся такие чудеса“, что, не сообразив, на какой дерзкий поступок он решается, приказывает ямщику ехать к Федору Кондратьевичу.

Осмотр дворца осташковского городского головы не входил в планы ямщика. Он поеживается, недоумевает, отговаривает, затем, сообразив что-то, становится ласковым, угодливым. На вопрос—возле чьих фабрик, заводов, домов они проезжают—он однообразно отвечает:—Это все Федора Кондратьевича, все его. И, узнав, что посетитель, подстрекаемый любопытством, хотел только увидеть то место, где обитает великий „маг и волшебник“, ямщик брезгливо отворачивается от него; мгновенно исчезает та глубина уважения, почтительности к посетителю, которой всего несколько минут назад он так фанатически проникся. Но такое неуважение не портит общего впечатления от прогулки по городу, потому что в нем, в этом неуважении, „видится та неизмеримая высота, то обожествление, так сказать, возведение в идеал, почти что миф, таинственной личности человека, выше которого бедный сын Селигера ничего не может себе и представить...“

„Ознакомившись“ таким образом с городом, посетитель, восхищенный всем, что видел из экипажа, уезжал. Затем, как очевидец, он рассказывал всюду удивительные небылицы о культуре и цивилизации замечательного города, писал хвалебные статьи в газеты, рьяно доказывая, что „в Осташкове все есть, решительно все, что нужно порядочному городу; даже больше,



нежели сколько нужно; что Осташков—передовой город и по развитости жителей, и по богатству, и по красоте местоположения,—одним словом, во всех отношениях“.

Подобного рода статьи заполняли многие тогдашние газеты, и неудивительно поэтому, что почти у всей читающей публики сложилось об Осташкове именно такое представление. Заслуга Слепцова заключается в том, что он был первым посетителем, трезво и вдумчиво взглянувшим на осташковские „диковинки“,—посетителем, осмелившимся разрушить все и всяческие мистификации и откровенно заговорить „о нелепой жизни мещанского городка Осташкова, городка, который чудесным каким-то образом весь принадлежит купцу Савину, а купец, все-сторонне грабя его, в то же время односторонне украшает ершами, весьма искусно вырезанными из дерева“<sup>3)</sup>.

Безотрадная картина развернулась перед глазами проницательного писателя, одна из тех картин, которые вызывают „горький смех, сквозь невидимые миру слезы“.

На первый взгляд, Слепцова приятно удивили: мостовая на Миллионной улице, бульвар с подстриженными березками и дорожками, усеянными песком, ерши, в изобилии расставленные при входах на бульвар, и городской сад<sup>4)</sup>; громкие вывески: „Общественный банк“, „Общественная библиотека“, „Публичный сад“ и т. д. Но стоило писателю свернуть в одну из второстепенных улиц, как приятное удивление внезапно сменялось тяжелым раздумьем. В кварталах ремесленников писателя поразила бедность, впрочем несколько не похожая „на грязную, нищенскую, свинскую бедность, которой большей частью отличаются уездные города“. Это была „какая-то особенная, подрумяненная бедность, похожая на нищего в новом жилете и напоминающая отлично вычищенный сапог с дырой“. Здесь вместо изяшных, прочных каменных домов Миллионной, перед Слепцовым предстали грязные переулки, уходящие одним концом в болото; кособокие, разрушающиеся домишки с прогнившими крышами, „хижины, бедные, богом хранимые, и больные ребятишки, и окна, заклеенные бумагой, и бледные, изнуренные лица с неизлечимой анемией,—одним словом, все это горе-злосчастье, с холодом да с голодом, да с лихими напастями“.

Осташковские „градоустроители“ потратили немало труда и сообразительности для того, чтобы стусевать, сгладить резкие контрасты роскоши и нищеты, дозвоительства и несчастья и этим создать у посетителей отрадное впечатление от города.

„Если вы захотите,—говорит Слепцов,—всмотреться пристальнее, то вы непременно заметите, что тут прошла чья-то искусная рука, что кто-то так ловко скомпоновал все эти *objets d'art*<sup>5)</sup>, что они неминуемо вам должны броситься в глаза. Вы непременно заметите, что для каждой вещи выбрано именно такое место, на котором она больше выигрывает и привлекает на себя ваше внимание. А что делается в отдаленных улицах, того вы не увидите, потому что туда вам и идти незачем, да и мостовых там нет, там болото“.

Для Слепцова было ясно, что „как они не хитрят, а все-таки видны белые нитки“. Факт оставался фактом. Город резко делился на центральную часть, где обосновались „именитые“ осташковцы (здесь во всем сказывалось богатство, роскошь, благоустроенность), и рабочие предместья с ветхими хижинами, непролазной грязью, бедностью и нищетой.

Этот факт, на первый взгляд кажущийся второстепенным, позволял опровергнуть ходячее мнение о том, что город своим благоустройством был обязан всецело Савиным. Савины заботились не об общем благоустройстве Осташкова, а только о той его части, в которой сами жили, где были расположены их многочисленные предприятия.

Так, бульвар содержался в большом порядке только потому, что он соединял торговую площадь с дворцом Савина; Миллионная была вымощена булыжником из-за того, что на этой улице многие дома принадлежали Савиным. Имеющийся в городе телеграф находился в безраздельном пользовании Савина. Газовый завод освещал бумагопрядильную фабрику и три жилых дома Савина... Сталкиваясь на каждом шагу с такими фактами, Слепцов пришел к убеждению, что город издавна находится во власти крупнейших фабрикантов Савиных. „Династия Савиных ведется в Осташкове спокон веку, так что представить себе Осташков без Савиных, или Савиных без Осташкова как-то даже невозможно“.

Савины имели два кожевенных и газовый заводы, чугунолитейное заведение, бумагопрядильную фабрику. Имея собственную флотилию кораблей, они вели обширнейшую торговлю со многими странами мира. Ценные сорта кожи, так называемой красной юфти, Савины сбывали в Англию, Австрию, Италию и Северную Америку<sup>6)</sup>. Хлопок для своей бумагопрядильной фабрики они ввозили из Египта, Ост-Индии, Америки и Австралии<sup>7)</sup>.

С 1860 года в Осташкове „царствовал“ Федор Кондратьевич Савин, городской голова, банкир-миллионер. Он считался мудрым, просвещенным администратором. Предполагалось, что все, чем мог похвалиться город, обязано своим возникновением исключительно Савину. На него привыкли смотреть в Осташкове, как на благодетеля, осыпающего всех своими благодеяниями. Правда, так смотрели на Савина далеко не все. Его безраздельное господство, его деспотизм и насилия вызывали протест со стороны подневольного, нищего населения, но робкий, скрытый протест. Например, в саду, на стенах павильона Слепцов увидел всевозможные надписи, стихи, в которых „туземное остроумие больше проходит насчет одного известного лица“, расточая ему свои „хулы и предрезостные выражения“. Осташковский знакомый Слепцова—Фокин—сообщил писателю, что многие осташковцы твердо убеждены в бесполезности для города предприятий Савина. Даже от самой крупнейшей бумагопрядильной фабрики Осташкову нет „пользы никакой, и работают-то на ней больше чужие, не здешние“.

Все эти и подобные им факты не прошли мимо пристального внимания писателя. На всем протяжении „Писем об Осташкове“ Слепцов настойчиво разоблачает фальшивую филантропию Савиных. Он скептически относится к осташковским „культурным“ и „просветительским“ учреждениям, насаждаемым эксплуататорами, ко „всеобщей грамотности“ осташковцев.

Смотритель женского училища так рассказывал Слепцову о настоящей причине всевозраставшего числа школьников в Осташкове: „У нас, как вам известно, бедные мешанки все до одной заняты работой целый день; разумеется, им некогда с детьми возиться... Приходит ко мне, например, какая-нибудь сапожница, что ли, приводит мальчика или девочку и говорит: возьмите их, сделайте милость, мне с ними, с пострелятами, смерть пришла, и без них тошно. Смотреть за ними некому, того и гляди друг дружке глаз выколют; а как они половину дня в училище просидят, мне все свободнее“... В других городах, по мнению смотрителя, меньше детей учатся в школах, потому что там мешанки обыкновенно ничего не делают и имеют возможность сами возиться с ребятишками. Школы привлекали внимание родителей не тем, что там их дети могли обучаться грамоте, получать полезные знания и навыки, а тем, что, взяв детей на несколько часов на свое попечение, облегчали родителям и без того тяжелый труд, способствовали экономии рабочего времени.

Такое отношение городской бедноты к школам, основанное на хозяйственных расчетах, позволило Слепцову сделать вывод о том, что в Осташкове „вопрос о народном образовании сводится на вопрос экономический“. В школе процветала зубрежка, наущничество и т. д. Самое лучшее училище города по своей внутренней обстановке напоминало бурсу, с ее ужасными порядками и нравами. „Комната не топлена, и ученики сидят кто в чем пришел: в халатах, тулупах, в кацавейках, с бабьими котами на ногах, другие даже в лаптях, простуженные, с распухшими лицами и торчащими вихрами. Уныние какое-то на лицах, точно все ждут наказания“.

Положение учителей тоже было не из завидных; жили они в нищенски бедных каморках, под неустанным надзором духовенства, в окружении неизбывной смертной скуки. „Вот наша служба, чорт бы ее драл,—жалуется учитель,—хуже нет: всякому дураку кланяться. Есть нечего, а тут еще требуют: следи за наукой. Какая тут, дьявол, наука“. И, действительно, окончившие школу оставались совершенно неграмотными и невежественными. От людей, считавшихся в городе культурными, Слепцову приходилось слышать такие слова, как „горазно“, „горажже“, „едчи“, „ухатчи“, „мышционально“, „из Москве“, „заперши“, „чернилица“.

В одинаковой мере со школой и воспитательный дом и богадельня, появившиеся в Осташкове раньше, чем в других городах, не могли осуществить своих целей и задач. Приход Слепцова

в „убежище для сирых и убогих“ произвел там смятение и тревогу. Забегали, засуетились разбуженные кормилицы и няньки. Но как ни старались они навести во всем лоск и порядок, все еще оставалось много доказательств существующего здесь „патриархального быта“. Расплакавшихся, голодных, бледных, исхудавших детей няньки поспешно уносили в другую комнату, подальше от непрощенного гостя. В воспитательном доме не было ни малейшего попечения, заботы о детях. Няньки и кормилицы относились к ним с удивительным равнодушием. Смотритель и его жена, в ведении которых находилось заведение, смотрели на свои полномочия, как на средство собственного обогащения. В результате бездушного, безответственного отношения к детям смертность в сиротском доме была поистине ужасающей. Слепцов встретил здесь только трех подростков и несколько грудных детей.

Странноприимное отделение, или, как называли осташковцы богадельню, „дом для призрения удрученных старостью и недугами“, произвело на писателя такое неприятное впечатление, что он поспешил оттуда удалиться.

Подобное же разочарование испытал Слепцов, ознакомившись с состоянием публичной библиотеки. Основанная в 1833 году по инициативе некоторых частных лиц, пожертвовавших свои книги, библиотека являлась жалким учреждением; помещалась она в маленькой темной проходной комнате. Спрос на книги был незначительный. За пользование ими в течение года взимались 11 рублей (5 рублей за чтение и 6 рублей залога). Это делало библиотеку недоступной для значительной части населения, которое или вовсе ничего не читало, или, как говорит Слепцов, услаждало свой досуг чтением рукописных тетрадей и песенников более чем сомнительного содержания. Некое должностное лицо, человек весьма начитанный и образованный, так характеризовал Слепцову Осташков и его „культурные“ учреждения: „...Самый подлый городишко. Вы не верьте, что вам об нем рассказывали, — врут... жизнь дорога, климат убийственный, общества никакого, раки только вот одни и есть, да еще воры здесь отличные“<sup>8</sup>). Не более лестным было мнение этого должностного лица и о грамотности осташковцев: „Это все вздор... Невежество полнейшее, — самый гнусный застой... делать нечего, читать нечего. Из библиотеки журналов не добьешься. Лежат там у кого-нибудь неразрезанные, а тут жди целый месяц, да когда еще по иерархической линии очередь дойдет... Что тут может сделать грамотность, когда у меня в брюхе пусто, дети кричат, жена в чахотке от климата и тачания голенищ? Что толку в том, что я грамотный, когда мне и думать о грамоте некогда? Бедность одолела, до книг ли тут?“

Но как же объяснить то обстоятельство, что осташковцы при такой бедности и нищете ухитряются хорошо одеваться, посещать театр, бульвар, сады? Нет ли здесь какого противоречия?

Задумываясь над такими вопросами, Слепцов пришел к твердому убеждению, что в Осташкове все делается для показа, с целью удивить кого-то, делается это почти бессознательно, по привычке. И одеваются осташковцы хорошо, и выходят прогуливаться не потому, что это доставляет им удовольствие или позволяет обеспеченность. Нет. Делают они это в большинстве случаев даже в ущерб материальным интересам лишь потому, что так принято лицами, задающими тон всей городской жизни. По ним волей-неволей вынуждено равняться все население из боязни подвергнуться осмеянию, сплетням и пересудам. Вот что услышал Слепцов от одного осташковского мещанина: „...Праздник пришел, я первым долгом голову себе намажу и к обеду, потом гулять на бульвар, или в театр. Нельзя же, у меня развитой вкус; тщеславие дурацкое так и прет меня врозь. Баба готова два дня не евши сидеть и детей поморить голодом, только бы на бульвар в шляпке сходить, да на Житном в беседочке посидеть“.

От другого мещанина Слепцов узнал более подробные сведения: „У нас бабеночки любят принарядиться, — говорит он, — театры, гулянья да наряды их просто с ума свели. Другая ложечки да образочки последние заложит, хоть как хочешь бедна, а уж без карнолинчика к обеду не пойдет... Мода такая у нас есть; опять танцы, публичные садочки, театры. Ну, разумеется, никому не хочется быть хуже другой: осмеют. Из последнего колотятся, только бы одеться по моде, да к обеду в параде сходить. Другая гражданочка всю неделю сапожки тачает, не разгибаясь, и ручки у ней все в вару, ребятишки босые, голодные, а в церковь или на бульвар итти, посмотрите, как разденется, точно чиновница какая“. Так осташковцы, не согласуясь со своими желаниями и потребностями, делали все, что диктовалось им „правителями города“, диктовалось под видом насаждения „просвещения“ и „культурности“. Экономическое и правовое закабаление осташковцев заставило их слепо следовать традициям, установленным „династией Савиных“.

В болезненном процессе капитализации Осташкова население совершенно обезличилось. „Сколько я ни замечал, — говорит Слепцов, — осташковские мещане, или граждане, как они себя называют, все отчасти смахивают на отставных солдат: бороды бреют, носят усы, осанку имеют воинственную и, когда говорят, отвечают — точно рапортуют начальнику“. Называли себя осташковцы гражданами, не вкладывая в это название высокого смысла. „Гражданами у нас мещане себя называют, — поясняло Слепцову должностное лицо. Еще вчера он был гражданин, а сегодня, положим, в гильдию записался: попробуйте-ка его гражданином назвать, так он на вас просьбу подаст — оскорбили. Сегодня уж он купец, а не гражданин“.

Все более входя в дела и жизнь осташковцев, Слепцов заметил весьма любопытное обстоятельство. За время своего пребывания в Осташкове он ни разу не слышал похвалы тому или иному учреждению от людей, непосредственно заня-

тых в нем. Так, например, пожарники сами никогда не хвалили свою пожарную команду, предпочитая почему-то отмалчиваться. А между тем, прославленная в стихах И. И. Лажечникова <sup>9)</sup>, она, по утверждению автора одной из статей, помещенных в „Памятной книжке Тверской губернии за 1861 год“, содействовала тому, что на Осташков обратили внимание. Вся шумиха, поднятая вокруг этого городка, началась именно с восхваления местной пожарной команды, которая считалась в России образцовой, технически одной из самых усовершенствованных <sup>10)</sup>. Упорное молчание пожарников, по мнению Слепцова, объяснялось не скромностью их, а тем, что они плохо знали свое дело, не вникали в смысл и значение своих обязанностей, не были знакомы с основными приемами тушения огня, не умели обращаться с пожарным инвентарем.

О том, что Слепцов не ошибся, утверждая это, свидетельствует грандиозный пожар 1868 г., во время которого „излюбленное детище“ Савина, пожарная команда, имея „несколько отличной конструкции пожарных инструментов, из числа ксих один, доставленный из Англии, значительной стоимости“ <sup>11)</sup>, не оправдала своей репутации. Пожаром, длившимся несколько дней, было истреблено более 200 жилых зданий, 30 кожевенных заводов и других ремесленных заведений, 60 лавок <sup>12)</sup>.

Настойчивым молчанием, подобным молчанию пожарников, ответили Слепцову сапожники на его вопрос, каким порядком попадают они в кабалу к своим хозяевам-капиталистам. Так же поступили служащие „общественного“ банка. „О разорительных для города свойствах банка, — сообщает Слепцов, — узнал я тоже от посторонних лиц, никогда не имевших в нем нужды“. Основанный еще в 1818 году богатейшим купцом Кондратием Алексеевичем Савиным, банк имел своей целью „ссужать имеющимися капиталами граждан Осташкова, терпящих нужду в кредите, для упрочения и расширения своей промышленной и торговой деятельности... облегчать беднейшим гражданам тягость повинностей“ <sup>13)</sup>. На деле же получилось иное. Банк, по утверждению Слепцова, явился корнем всего зла, причиной нищеты осташковцев.

Именно с помощью банка Савину удалось закабалить, подчинить своей воле все население, обезличить его. Кредитую купцов и промышленников, для остальных граждан банк являлся не чем иным, как ростовщическим предприятием, принимавшим под проценты все, что только возможно.

„У нас местечко такое есть, — рассказывал Слепцову Фокин, — что хотите возьмут. Что кокошничков старинных с жемчугами, поднизей, сарафанчиков парчевых снесли туда наши бабёночки; все принимают, ничем не брезгают“. Почти все осташковцы состояли должниками банка. О том, как поступали в Осташкове с людьми, задолжавшими банку, как эти должники попадали в кабалу к фабрикантам и заводчикам, Слепцов, устами своего знакомого осташковца, сообщал следующее: „Заведен у нас такой порядок: граждан, которые не в

состоянии уплатить долга банку, отдавать в заработки фабрикантам и заводчикам. Оно бы и ничего, пожалуй, не слишком еще бесчеловечно, да дело-то в том, что попавший в заработки должник большей частью так там и остается в неплатном долгу, вечным работником. Уж как это устраивается, бог их знает. Известно только, что при всеобщей бедности жителей, предложение труда превышает спрос, вследствие этого, конечно, плата упадает, и ценность труда зависит от фабриканта. Но вы не забудьте, что рядом с этой нищетой стоит театр, разные там сады с музыкой и проч... Но на все это нужны деньги. Где же их взять? А банк-то на что? Вот он тут же, под руками, там 200 тысяч лежат. Ну и что же тут удивительного, что люди попадают на этих удовольствиях, как мухи на меду?"

Посетители Осташкова, не посвященные в тайны местной политики, ничего не видели знаменательного в том, что ремесленники, работая у себя на дому, или на квартирах, взятых во временное пользование, не занимаются продажей изготовленных ими товаров. Некоторые посетители склонны были считать это признаком их зажиточности. В самом деле, можно было подумать, что каждый ремесленник в Осташкове—небольшой хозяйчик, собственник, отдающий купцам свой товар оптом лишь потому, что ему так выгодно. Подобные взгляды, как ложные, разоблачает Слепцов. Он убедительно доказывает, что ремесленник не может продать ни одной пары сапог, изготовленных им, потому, что он работает для хозяина, работает из материала, принадлежащего хозяину (разрядка моя.—Я. С.). А так как сапожники к таким хозяевам попадали из-за долгов, то общий их заработок, за вычетом задолженности, был очень незначителен.

Из всех осташковских примечательностей, превознесенных и захваленных, Слепцов остался доволен только театром, вернее не самим театром, как культурным учреждением, а людьми, бескорыстно отдающимися сценическому искусству. Помещался театр в большом неуклюжем каменном здании, предназначенном для какого-то кожевенного завода. Хотя театр и приносил значительные доходы, „благотворители“ о нем мало заботились.

„Представления в театре были только зимой, с половины ноября до окончания масляной<sup>14)</sup>. Театр не отапливался в зале зрителей, даже сцену снабжала теплом одна небольшая чугунная печь. Все зрители постоянно были в верхнем платье, в шубах и шапках, а сами актеры, сойдя со сцены, согревались за кулисами тоже в шубах или возле печки, кто как мог“.

Такое состояние театра служило лишним доказательством того, что „благотворители“, занимаясь „благоустройством“ города, преследовали свои узко личные интересы. Дворец Савина был освещен газом, а в театре „освещение производилось свальными свечами и очень экономно“<sup>15)</sup>.

Если в театре и было что-либо замечательное, так этим он всецело был обязан актерам. Среди осташковских актеров име-

лись люди действительно талантливые. Слепцова — человека с незаурядно развитыми театральными и художественными вкусами — поразила игра Ольги Петровны Запутряевой. Он не ожидал от провинциальной артистки, ни разу не видевшей никакого другого театра, кроме местного, „такой простоты, свободы и верности“ в игре.

Итак, в „Письмах об Осташкове“ Слепцов убедительно доказал, что бульвары, сады, библиотека, благотворительные заведения, банк и т. д. ни в коей мере не удовлетворяли настоящим запросам и потребностям населения, не содействовали подлинному благоустройству города, не имели целью свою „благо общественное“. И это неудивительно: само возникновение их было вызвано не потребностями развитого общества, а велением эксплуататоров, преследовавших свои грубо практические интересы. Таким образом получалось, что все эти осташковские „дикивинки“ — не что иное, как украшение, декорация, пестроцветная мантия, прикрывающая социальные нарывы и язвы.

В довершение ко всему, с чем столкнулся Слепцов в Осташкове, перед ним раскрылась еще одна местная „тайна“. Писатель узнал, что и „украшения“, и „декорации“ ни гроша не стоили эксплуататорам. Сады, бульвары с павильонами и ершами, беседки, пожарная команда и все прочее содержалось на счет особых сборов, так называемых „темных“, то-есть на средства самих же трудящихся.

В своих „благих“ начинаниях Савины были не одиноки. На страже интересов промышленников стояла церковь. И не только стояла, но и сама, по собственному почину, занималась эксплуатацией трудящихся.

Слепцов, побывав в Ниловской пустыни, записал: „Кроме братии, живет в обители довольно значительное число трудников, наемных рабочих и вкладных людей. Под именем вкладных людей известны были крестьяне, присланные туда помещиками ради спасения своей (помещичьей) души и на неопределенное число лет, и даже вольноотпущенные, с обязанностью прослужить условное время в пустыни“.

Эксплуатируя наемных и вкладных людей, Ниловская пустынь этот очаг религиозного мракобесия — располагала огромным хозяйством. Она имела „гостиный двор, два конных двора, три хлебных амбара, ремесленный корпус, квасоварню с солодовнею, рыбный садок и другие хозяйственные постройки; несколько десятков пудов серебра, драгоценных камней и множество золотых вещей“.

Хотя в „Письмах об Осташкове“ основное свое внимание Слепцов уделил положению горожан, все же он не мог обойти молчанием и основного вопроса литературы шестидесятых годов — вопроса о положении крестьянства после так называемой „освободительной“ реформы 1861 года.

Жизненно-яркая картина столкновения крестьян с помещиком, зарисованная Слепцовым как бы попутно, полна глубокого политического смысла. Слепцову пришлось быть свидетелем



„одной из тех сцен, которые разыгрываются на разный манер по всему русскому царству“. К помещику, остановившемуся на постоялом дворе, пришли ходоки от крестьян. Он старается доказать им необходимость выкупа земли. Крестьяне держатся робко, переминаются с ноги на ногу; просьбу свою выражают нерешительно, боязливо: „Оброк велик, трудновато будто... землицы нам еще бы, то-есть самую малость... не сподручна она, земляца-то эта“. Помещик, вместо ответа на просьбу, честит „своих“ мужиков самыми отборными ругательствами: „Ах, разбойники! Уморили!.. Совсем уморили!.. Ничего не понимают!.. Ах, мошенники!.. Велик оброк!.. А? Велик оброк!.. Ах, мошенники!.. Да земля-то моя? Анафемы вы эдакие! А? Моя земля? А? Моя она, что ли? А? Понимаете вы? Ах, черти!.. не сподручна! Ах, негодяи!“

В другом месте Слепцов показывает, как помещик предлагает в аренду крестьянам самую неплодородную, совершенно непригодную для обработки землю. Крестьяне из страха умереть с голоду вынуждены согласиться на предложение.

„Скупенька земляца-то эта,—вкрадчиво замечает крестьянин строптивому помещику.—Камушек опять... Камушку-то очень добре много“.

„А вы его вытаскайте, камень“.

„Помилуйте, Ликсандра Васильич. Где же его вытаскать? Ведь он скрозь все камушек“.

„Ну, так навозцу, навозцу подкиньте!“

„..Сами изволите знать: какой у мужика навоз? Скотинешка опять, какая была, поколемши“.

Но помещик не идет ни на какие уступки. Сила в его руках. Он волен диктовать какие угодно условия, и... делать нечего, крестьяне неохотно, скрепя зубы, затаив в сердцах жгучую обиду и злобу, соглашаются на кабальные условия, ясно сознавая, что это—полнейший обман, что барин „жилит“. После удачной сделки помещик выпивает с посредником; и уже совершенной фальшью, насмешкой звучат его слова, обращенные к мужикам, все еще ждущим чего-то:

„... Вот вас на волю отпустили. Ну, да. Вы теперь будете вольные. А? Вот я зла не помню. Ведь я вас люблю, даром, что вы мошенники. Ведь я вам отец...“

В небольших набросках, характеризующих тяжелую жизнь русской деревни, Слепцов дал правильную, исчерпывающую оценку реформы 1861 года. Под прекрасноречивой фразой либералов, прославлявших „освободительную“ реформу, он сумел разглядеть крепостнический характер последней, сумел понять ее контрреволюционную сущность. Позднее, в повести „Трудное время“, писатель специально займется разоблачением реформаторской, филантропической деятельности либералов, сделает решительный вывод о необходимости революционной борьбы для перестройки жизни на новых началах.

В „Письмах об Осташкове“ Слепцов придерживается в основном тех же взглядов на эстетику, которые господствовали

у передовых разночинцев шестидесятых годов. Ему не до красот природы, когда вокруг столько бедствий и страданий. Он всю силу своего творчества направляет на уяснение и разрешение социальных проблем, на обличение существующих условий жизни, на разоблачение самодержавно-бюрократического строя.

Писатель избегает психологических деталей; характеристику образов он строит на живых наблюдениях, бытовых сценах и диалогах. Образы у Слепцова, даже самые незначительные, резко очерчены, словно вылеплены искусным скульптором. Они осязательны, необычайно жизненны; каждый из них имеет свою характерную индивидуальную окраску, которая усиливается благодаря бесподобному уменью Слепцова передавать разговорную речь. Можно безошибочно определить характер того или иного героя, имея перед собой образчик его разговора. Часто Слепцов прибегает к неожиданным парадоксальным сравнениям, заключениям, метко характеризующим нелепость осташковской жизни. Вдруг среди серьезного описания у него нет-нет да и прорвутся такие, по меньшей мере странные, утверждения: „Надо заметить, что Осташков славится раками“. Или: „Как славно, однако, здесь рисуют пожарные значки“ и т. п. Большая наблюдательность, высокое поэтическое мастерство позволили Слепцову с неумолимой логикой разоблачить „скашавую позолоту“ Осташкова, снять с него эстетический, украшающий флер, показать неприглядную изнанку мещанского городка, в котором население, отданное на произвол грабителей-промышленников, влачит жалкое существование, полное лишений и страданий, прозябает в косности, дикости и бескультурии. Лучшим доказательством того, что писатель в своем замечательном политическом памфлете не погрешил против истины, являются следующие мероприятия разоблаченных „гуманистов“ и „филантропов“.

В осташковской публичной библиотеке был запрещен и изъят майский номер „Современника“, в котором начали печататься „Письма“. Вероятно, по просьбе „именигх“ осташковцев цензурный комитет потребовал от писателя „исключения мест, относящихся к личностям“. После того, как появились все девять очерков, в Осташкове принялись разыскивать „злонамеренных“ лиц, которые „способствовали раскритикованию некоторых секретных свойств города, до сего времени составлявших, так сказать, городскую тайну“. Заподозренным в сношениях со Слепцовым осташковским гражданам угрожало удаление из городского общества с „очернением“.

В открытом письме в журнал „Современник“ Слепцов становится на защиту лиц, которым „угрожает опасность подвергнуться остракизму“. Он стремится полностью оправдать их: „Рассказывая мне всякую всячину, они имели в виду одну цель: помочь по мере сил своих прославлению родного города. Кто же виноват, если картина вышла не красива. Во всяком случае не я и не мои корреспонденты“.

В первой половине шестидесятых годов широко развернулось так называемое „женское движение“. Огромное количество женской молодежи, охваченное стремлением освободиться из-под гнета домостроевских обычаев, добиться самостоятельности для учебы и работы, устремилось в Петербург.

Неприспособленные к самостоятельной жизни, не имевшие ни трудовых навыков, ни практических жизненных установок, эти девушки испытывали острую нужду, потребность в помощи и руководстве. „Слепцов встал во главе всего „женского дела“. Каждый день у него были новые планы: основать бюро прислания работы для женщин, открыть для них контору переписки бумаг, основать артель типографских наборщиц и т. д... Он читал женщинам научно-популярные лекции, устраивал для них мастерские, где сам же обучал их переплетному делу, создал для них фонд взаимопомощи, в пользу которого постоянно устраивал концерты, литературные вечера и спектакли“<sup>16</sup>). Знаменитый роман Чернышевского „Что делать“, вышедший осенью 1864 г., произвел на разночинческую молодежь исключительное влияние. Описанные Чернышевским производственные мастерские казались ей наиболее совершенной формой человеческих отношений. Под влиянием романа в Петербурге начали возникать „коммуны“, не идущие, впрочем, в своих устремлениях дальше узкопрактических задач.

Если, как правило, эти „коммуны“ стремились создать своим членам максимум удобств, облегчить экономические условия их существования и т. п., то „коммуна“, организованная Слепцовым, принципиально отличалась от них. „...Для Слепцова коммуна была только первоначальным этапом по пути к великому будущему... Верный ученик Чернышевского, он затем и устроил ее, чтобы положить основание социалистической организации труда“<sup>17</sup>). Однако условий, необходимых для развития подобной организации, в России тогда еще не было. Поэтому слепцовская коммуна распалась, просуществовав всего лишь около восьми месяцев. „Общий труд не привился,—вспоминала впоследствии мать Слепцова,—он был еще не современен, да и полиция небывалую диковину стала преследовать“.

Вскоре после того, как слепцовская коммуна распалась, в 1866 году произошло знаменательное для эпохи шестидесятых годов событие: Каракозов покушался на Александра II. Вслед за покушением начался правительственный террор, возглавляемый диктатором России — Муравьевым-Вешателем. Наиболее передовые журналы разночинцев — „Современник“, „Искра“, „Русское слово“ — были закрыты. Почти всех литераторов, связанных с демократическими изданиями, в том числе и Слепцова, арестовали. Слепцова, обвинявшегося главным образом в создании коммуны, полиция считала опасным крамольником. Так, канцелярия с.-петербургского обер-полицмейстера дала о нем весьма угрожающий отзыв: „Крайний социалист, сочувствует всему антиправительственному. Нигилизм во всех формах“.

Семь недель просидел Слепцов в заключении—в грязной, смрадной камере. „Здоровье мое расстроилось окончательно, я совершенно лишился сна и аппетита, я с каждым днем изнемогаю все больше и больше“,—сообщал он матери из тюрьмы. После выхода из-под ареста, немного поправив здоровье, Слепцов принял живейшее участие в организации редакции „Женского вестника“, затем, по приглашению Некрасова, стал секретарем обновленных „Отечественных записок“. Болезнь, вынесенная писателем из тюремного заключения, к этому времени значительно обострилась. В письме к своей знакомой В. З. Ворониной Слепцов писал:

„... Я начал лечиться. Был я у Боткина, и он нашел во мне такие недуги, что просто беда: если не лечиться, так водяная будет. Советует ехать за границу, или, по крайней мере, в Крым“<sup>18</sup>).

Писатель не имел средств для того, чтобы последовать совету знаменитого клинициста. Вместо заграницы, Крыма он отправился в Тверскую губернию, в село Лялино. В середине мая 1870 года он сообщал матери:

„Пишу к вам из Лялина, где я живу у Кутузовых. Приехал я сюда на-днях и думаю прожить здесь до конца июня. Я болен. Мне необходим деревенский воздух, и пью воды, которые Варвара Александровна<sup>19</sup>) мне присылает каждую неделю из Петербурга. Шесть недель буду пить воды, а потом нужно или пить кумыс, или уехать куда-нибудь на юг. Здоровье мое к весне расклеилось совсем. У меня есть деньги на лечение и их хватит на шесть недель, больше не будет, потому что я живу не в доме, а отдельно, в избе, со своею прислугою и своим хозяйством. Сделайте то, что я вас прошу: достаньте мне сто рублей и пришлите их сюда (Николаевская железная дорога, станция Заречье, деревня Лялино). Я прошу вас об этом потому, что до конца лета я, вероятно, не попаду в Петербург, стало быть и достать денег не могу. Только к концу лета я могу кончить начатую работу и тогда буду в состоянии расплатиться с вами...“

Следовательно, Слепцов приехал в Лялино не только для поправки своего здоровья, но и для работы над новым произведением: по всем данным,—над повестью „Хороший человек“. Однако по каким-то непредвиденным обстоятельствам он вскоре вынужден был выехать из Лялина. Секретное отделение с.-петербургского обер-полицмейстера 10 июля 1870 года сообщало тверскому губернатору о том, что Слепцов, проживавший в Петербурге под негласно-обидительным надзором „за распространение нигилистической партии“, отметил 4 июля выбывшим в Тверь<sup>20</sup>). Исполняющий должность тверского полицмейстера, безуспешно прождав Слепцова четыре года, известил губернатора, что Слепцов не прибыл и что за его прибытием ведется наблюдение<sup>21</sup>).

В то время, когда Слепцова ожидали в Твери, он находился в Лялине. О его пребывании в этом селе полиция ничего не знала. Вероятнее всего, что писатель, предполагая за собой

надзор, решил провести полицию; это, как видно из документов, ему и удалось.

8 августа 1870 года вышневолоцкий уездный исправник, перечисляя в донесении губернатору имена приехавших в имение с Александрой Евграфовной Голенищевой-Кутузовой, между прочим отметил и проживавшего там Слепцова<sup>23</sup>). 14 сентября губернатор распорядился ввести за Слепцовым надзор. Но писатель в начале октября покинул Лялино<sup>24</sup>).

Об отношении полиции к обитателям и посетителям кутузовского имения можно судить хотя бы по следующей специальной записке исправника к губернатору:

„В селе Лялине, Подольской волости, близ Зареченской станции Николаевской железной дороги, в имении дочери штаб-капитана Александры Евграфовны Кутузовой,—говорится в записке,—с мая месяца начинают появляться лица мужского и женского пола, которые своим странным образом жизни и непонятным поведением обратили внимание полиции. Так, например, день они превращают в ночь, а ночь, обратно, в день; иначе: день спят, а ночь проводят то на озере, находящемся при с. Лялине, катаясь целою толпою на лодках с песнями, не разбирая ни воскресных, ни праздничных дней, свято чтимых прибрежными крестьянами и другими жителями, то в лесу, стоящем на берегу того же озера, в котором иногда бывают даже суток по двое вместе с женским полом, и как там ими проводится время—этого никто не знает.

Женщины одеваются в мужское белье—мужскую рубашку и широкие шаровары. Своим вольным образом жизни они удивляют местных жителей, а ночными пениями песен накануне праздников и воскресных дней поселили негодование. Жизнь ведут весьма свободную, развратную, едят пищу из одного общего горшка прямо ложками, и вообще во всем замечается коммунизм (разрядка моя.—Я. С.). Все эти неизвестные лица приезжают и уезжают куда-то по Николаевской железной дороге, проживая в Лялине по 2 и по 3 дня, так что нет возможности дознать о личности этих людей“<sup>24</sup>).

Уездный блюститель законности, ничего не зная достоверного о лицах, посещавших село Лялино, но свидетельствуя о якобы развратном их поведении и недовольстве этим поведением со стороны местных жителей, злобно клеветает. Молодежь в Лялине собиралась солидная, деловая<sup>25</sup>). Бывали здесь студенты старших курсов медико-хирургической академии и технологического института, служащие разных петербургских учреждений со своими женами и—главным образом—молодые люди, отказывавшиеся от служебной лямки. Желание честно трудиться, чувство протеста против системы обмана, лести и подхалимства, царившей в стране, не давали им возможности уживаться на службе. Поведение этой молодежи, так испугавшее уездного исправника, было своеобразным протестом против окружающей действительности, демонстрацией прав свободной личности, отголоском слепцовской коммуны. В маленьком имении, окружен-

ном лесами, все эти люди укрепляли свою веру в возможность переустройства жизни, закаляли себя для предстоящих схваток с врагами, мечтали о заманчивом будущем.

Семья Голенищевых-Кутузовых, как и приезжавшие к ним, была настроена крайне оппозиционно к существовавшему строю. Имение Кутузовых постоянно было окружено каким-то ореолом таинственности и конспиративности. В 1877 году полиция произвела в Лялине обыск, обнаружив при этом много запрещенных книг политического содержания и револьвер. Через три года, ожидая проезда Александра II по Тверской губернии, полиция учредила тщательное наблюдение за усадьбой. Все это лишний раз свидетельствует о том, что охранительные власти считали имение не только пристанищем „нигилистов“, но и центром их антиправительственной деятельности.

Нет сомнения, что в семье Кутузовых Слепцова принимали как своего человека. Здесь он встречался со многими прежними знакомыми и товарищами. Были среди них и те, кому Слепцов оказывал какую-либо помощь в пору подъема „женского движения“. Возможно, что и с Александрой Евграфовной он познакомился именно тогда. Пребывание в кругу идейно близких людей, спокойная жизнь среди природы — все это способствовало успешной творческой работе писателя.

В свой третий приезд в село Лялино (август 1871 года) Слепцов письменно сообщал Некрасову о том, что им закончена первая часть давно обещанной большой повести („Хороший человек“), и просил его посодействовать в напечатании этого произведения<sup>26</sup>).

Некрасов, с нетерпением ожидавший повесть от Слепцова, поместил первые главы ее в февральском номере „Отечественных записок“. Но „Хороший человек“, в основу которого была положена самая жгучая, злободневная для семидесятых годов тема — хождение кающегося дворянина в народ, очищение его благодаря соприкосновению с народом и уход в революцию для защиты народных интересов, — был встречен читателями холодно и неприязненно. К. Чуковский объясняет причину неуспеха этого произведения тем, что „сила Слепцова в юморе, в беглых зарисовках и шаржах, бойкой живости крестьянских диалогов, здесь же он пренебрег этой силой и ушел в чуждую ему область психологического мелочного анализа“<sup>27</sup>).

Однако в повести резко, в революционном духе разрешались основные социально-политические вопросы того времени. Вот почему цензура признала ее неблагонадежной. Слепцов уничтожил последние главы повести и навсегда отошел от литературы.

В 1878 году неизлечимая болезнь преждевременно оборвала жизнь писателя.

---

## **„ХОЖДЕНИЕ В НАРОД“**

### **С. М. СТЕПНЯКА - КРАВЧИНСКОГО**

Семидесятые годы XIX века проходили в России под знаком широко развернувшегося народнического движения. „Русские народники ошибочно считали, что главной революционной силой является не рабочий класс, а крестьянство, что власть царя и помещиков можно свергнуть путем одних лишь крестьянских „бунтов“...

Народники сначала пытались поднять крестьян на борьбу против царского правительства. С этой целью революционная интеллигентная молодежь, переодевшись в крестьянскую одежду, двинулась в деревню—„в народ“, как тогда говорили. Отсюда и произошло название „народники“. Но за ними крестьянство не пошло, так как они и крестьян, как следует, не знали и не понимали. Большинство народников было арестовано полицией. Тогда народники решили продолжать борьбу против царского самодержавия одними своими силами, без народа, что привело к еще более серьезным ошибкам“<sup>1)</sup>).

Методом борьбы с царизмом народники избрали, как известно, индивидуальный террор. Не понимая классового характера самодержавия, они ошибочно полагали, что стоит только ликвидировать правящую „верхушку“, и жизнь в стране потечет по новому руслу. „Народоволец Степняк-Кравчинский уверял, что для свержения царской власти достаточно заговорщической организации в несколько десятков человек!“<sup>2)</sup>).

Писатель С. М. Степняк-Кравчинский был одним из виднейших представителей революционного народничества. Помимо публицистических работ, он написал ряд беллетристических книг, посвященных различным этапам народнического движения. Наиболее известными из этих книг являются роман „Андрей Кожухов“ и повесть „Домик на Волге“. Но Кравчинский не только писал о народничестве, он был и практиком этого движения, являясь соратником Софии Перовской и других народников-революционеров. В 1878 году он вошел в партию „Земля и воля“, название которой им же было предложено. В том же году, кинжалом в грудь, он убил шефа жандармов—генерала Мезенцева, особенно сурово расправлявшегося с революционерами. В следующем году, после разделения „Земли и воли“, Кравчинский вступил в партию „Народная воля“. Эмигрировав

за границу, он и там вел активную политическую деятельность, правда, все больше испытывая (с 80-х годов) влияние либеральных воззрений.

С Тверской губернией Кравчинский был связан своим единственным „хождением в народ“, которое он совершил в Алфимовскую волость, Новоторжского уезда.

В пределах этой волости жил тогда отставной артиллерийский офицер — помещик Ярцев, увлекавшийся толстовством, сочувствовавший народникам. Правда, закончил он свои дни, как этого и следовало ожидать, превратившись в предпринимателя капиталистического типа. К нему летом 1873 года и приехал под видом родственника Кравчинский. По приезду он стал работать в качестве батрака на полях Ярцева. Позднее, когда Ярцев уехал в Петербург, а в Алфимовскую волость прибыл видный представитель народничества Д. М. Рогачев, Кравчинский вместе с ним стал ходить по соседним деревням, занимаясь пилкою дров по найму.

„Кравчинский... стал... заниматься полевыми работами, — писал в своем донесении губернатору 6 декабря 1873 года новоторжский исправник, — работали вместе с Ярцевым и оба вместе с рабочими в людской обедали и ужинали... По отъезде Ярцева в Петербург, Кравчинский и прибывший впоследствии Рогачев во второй половине ноября занимались распилюю дров у крестьян“<sup>3)</sup>.

Как и его товарищ по работе, Кравчинский давал крестьянам книги для чтения, проводил в деревнях беседы. Вот как в том же донесении характеризовал эту деятельность писателя новоторжский исправник:

„...Посещали крестьянские беседы, читали сторожу и рабочим в лесной даче разные книги, разговаривали о республике и революции в Америке и Франции, при чем говорили, что это должно быть и в России; на беседах же рассказывали о земле, небе и солнце и дарили такого же содержания книги крестьянским мальчикам, говоря: „Читайте их больше“<sup>4)</sup>.

Перед нами типичные для народничества методы, содержание и характер пропаганды. Дело не идет дальше провозглашения буржуазной демократии идеалом политического строя. При этом за образец берутся Северо-Американские Соединенные Штаты и даже „республика без республиканцев“, Франция Тьера, расправившаяся с пролетариатом в дни Парижской коммуны 1871 года. Большое место в пропаганде Кравчинского занимали также беседы о земле, небе и солнце. По этому поводу вспоминаются слова товарища Сталина, обращенные к одному из учеников воскресной школы (ученик этот рассказал, что в школе „объясняют, как движется солнце“):

— „Слушай! Солнце, не бойся, не собьется с пути. А вот ты учись, как должно двигаться революционное дело, и помоги мне устроить маленькую нелегальную типографию“<sup>5)</sup>.

О том, „как должно двигаться революционное дело“, ни Кравчинский, ни его сотоварищи по пропаганде с крестьянами не говорили.



Литература, которую Кравчинский раздавал крестьянским детям, которую он давал читать взрослым крестьянам, представляла собой вполне легальные издания. Из запретных книг распространялись только сочинения Лассалья. „Запрещенная книга „Лосаль“, как ее именует новоторжский исправник, особенно напугала этого полуграмотного „искоренителя крамолы“. Отметим, что в числе изданий, которыми охотно пользовался для пропаганды Кравчинский, было евангелие. Это далеко не случайность. „Политический“ Владимир Петрович Волгин (Муринов), герой повести Степняка-Кравчинского „Домик на Волге“, пытаясь вовлечь героиню повести Катю Прозорову в народническую организацию, тоже прибегает к евангелию.

Уместно предположить, что мировоззренческий поворот от революции к либерализму, который дал себя чувствовать у Кравчинского, начиная с 80-х годов и особенно дальше, имел для себя некоторую благоприятную почву в писателе уже тогда, когда тот, казалось, еще стоял на революционных позициях. Кстати, Кравчинский в этом смысле не являлся исключением. Многие представители революционного народничества оказывались на таком же положении.

Нельзя сказать, что пропаганда Кравчинского была безрезультатной. Значительная часть новоторжских крестьян слушала с явным сочувствием рассуждения писателя о переделе земли. Однако не могло быть и речи о крестьянском восстании—таком, о котором мечтали народники. Что касается местных кулаков, в лице волостного старшины и всего Алфимовского волостного правления, то они поспешили прервать невыгодную для них пропаганду и арестовали Степняка вместе с Рогачевым.

„Алфимовское волостное правление Новоторжского уезда,—доносил исправник тверскому губернатору 3 декабря 1873 года,—заподозрило занимающихся в пределах волости распилюю дров, именующих себя отставными поручиками артиллерии—один Сергеем Михайловым Кравчинским, а другой Дмитрием Михайловым Рогачевым, в личностях их... задержало их и 28 ноября препроводило при рапорте приставу 2 стана, но оба они в пути к становой квартире бежали от сопровождавшего их сотского“<sup>6)</sup>.

Арестованных освободил крестьянин, поставленный караулить их во время ночевки. Кравчинский скрылся. Розыски писателя, организованные сначала в Новоторжском уезде, оказались безуспешными, хотя его и видели в Торжке, куда он явился на обывательской подводе. Впрочем, судя по донесению того же исправника, Кравчинского обнаружили одновременно и в другой половине уезда, в селе Ильи-Горы, где, по словам очевидцев, он заходил в питейный дом, расспрашивал дорожку и откуда ушел по направлению к селу Мологину. Таким образом, следы Кравчинского были потеряны. Исправнику ничего больше не оставалось делать, как беспомощно гадать, куда бы мог отправиться неуловимый пропагандист.

Поиски охватили всю губернию и продолжались несколько лет, а между тем писатель давно уже находился „за пределами досягаемости“, поселившись в Лондоне. Новоторжский исправник еще раз „нашел“ следы Кравчинского 21 июля 1880 года на Каменской писчебумажной фабрике купцов Кувшиновых. Собранные со всего уезда полицейские чины неожиданно нагрянули на фабрику, перевернули все вверх дном и, разумеется, вернулись ни с чем<sup>5)</sup>.

Так же безрезультатно закончились аресты, обыски и допросы крестьян Алфимовской волости, с которыми встречался Кравчинский. Кроме томиков стихотворений Некрасова, никакой иной литературы у них обнаружить не удалось, а на допросах у заместителя начальника тверского губернского жандармского управления крестьяне ничего, помимо общеизвестных фактов, не показали. Ни к чему не привели и розыски среди учителей ближайших школ. Почти все учителя были арестованы, у всех был произведен самый тщательный обыск. Жандармские чины перечитали сотни захваченных писем, но открыть местопребывание Кравчинского им все же не удалось. Даже либеральные земцы, в лице статистиков и председателя Новоторжской уездной земской управы В. Н. Линд, не оправдали радужных надежд жандармов—не дали желаемых сведений. Только помещик Ярцев откровенно все рассказал и стал просить о своем помиловании. Однако он не был осведомлен, куда скрылся Кравчинский, и его показания для розыска оказались совершенно бесполезными.

Так закончилась первая и единственная попытка С. М. Степняка-Кравчинского „йти в народ“. Ее провал знаменателен. Крестьянство, имея свои собственные интересы, не поняло народников и не пошло за ними. Ставка на крестьян как на „извечных бунтарей“, „инстинктивных революционеров“ оказалась битой. Попытка спасти положение, сделав ставку на „героев“, также не могла себя оправдать.

В борьбе с народничеством вырос и окреп марксизм в России, мировоззрение революционного пролетариата.

\* \* \*

Естественен вопрос об отношении к литературному наследию таких писателей, как Степняк-Кравчинский. Правда, вопрос этот выпадает из плана нашей статьи. Чтобы не оставить его вовсе без ответа, скажем, что названные нами произведения Кравчинского и сейчас читаются с большим интересом, а в свое время в значительной степени революционизировали читателя, особенно молодежь. Интересны они и с точки зрения познавательной, как отражение определенного этапа в развитии русского революционно-освободительного движения.

---

## ЛИТЕРАТОРЫ В ВЫШНЕВОЛОЦКОЙ ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ

Чтобы со станции железной дороги добраться до Вышневолоцкой политической пересыльной тюрьмы № 2, нужно было проехать через весь город. Окруженная высокой кирпичной стеной, к которой кое-где прильнули низенькие, полосатые полицейские будки, высилась она на отшибе, за городским выгоном. Неприветливо глядело это неуклюжее трехэтажное здание с подслеповатыми решетчатыми окнами. Два верхние его этажа были отведены под камеры заключенных. В нижнем—полуподвале—размещались надзиратели и тюремная канцелярия. Общие камеры были невелики, а одиночки—и вовсе крошечные. Железные койки, табуреты и висячие керосиновые лампы—этим исчерпывалось все их убранство. Помещение, предназначенное для заключенных, было наредкость сырое: со стен, густо поросших плесенью, ручьем текла липкая влага, образуя на полу зловонные лужи. Дурно устроенные печи не столько грели, сколько распространяли дым и чад. В щелях стен и в тюремных койках стаями ползали клопы, исконные обитатели домов заключения. По ночам, когда камеры запирались на замок, от „параша“ стояла тошнотворная духота. Тюрьма функционировала с 22 ноября 1878 года по 24 августа 1881 года, то-есть около трех лет. За это время в ее стенах побывали 162 заключенных. Из них подавляющее большинство—151 заключенный—были „административные“, и только 11 подлежали ссылке по приговорам судов. Из административных большинство предназначалось к высылке в Восточную Сибирь.

Среди заключенных Вышневолоцкой пересыльной тюрьмы было немало литераторов.

### В. Г. КОРОЛЕНКО

21 февраля 1880 года, под конвоем двух тверских жандармов, прибыл в Вышневолоцкую тюрьму Владимир Галактионович Короленко. Как значилось в его статейном списке, он подлежал высылке в Восточную Сибирь за несовершенный в действительности „побег из назначенного ему места жительства“.

По окончании многочасовой процедуры приема и сдачи арестованного, проверки его имущества и свидетельствования при-

мет, а также после обыска смотритель, штабс-капитан Лаптев, поместил Короленко в одну из общих камер.

Попав в тюрьму, писатель не знал причины постигшей его кары. Вятская администрация не сочла нужным разъяснить, за что он обречен на ссылку; тверской губернатор А. Н. Сомов, сухой и бездушный формалист, в канцелярии которого московские жандармы сдавали Короленко под расписку местным властям, еще меньше был склонен к подобным разъяснениям. „И вот я в Вышневолоцкой тюрьме, а оттуда одна дорога—в Сибирь,—вспоминал впоследствии Короленко о своих переживаниях, связанных с принудительной поездкой в Вышний Волочек.—Наконец, успокаиваюсь я:—кажется, ничего больше невозможно. Конец сюрпризам. Я предлагаю еще раз вопрос: за что? И уже окончательно успокаиваюсь, не получив никакого ответа“<sup>1)</sup>.

Вышневолоцкая тюрьма находилась в непосредственном подчинении у тверского губернатора. Он устанавливал для заключенных распорядок дня, через него шла их переписка с родными, к нему обязаны были обращаться заключенные за разрешением всех вопросов, касающихся их содержания в тюрьме и в ссылке. Естественно, что и Короленко, лишь только он освоился со своим новым положением,—обратился с запросом к губернатору о своей дальнейшей судьбе.

„Имею честь просить, ваше превосходительство,—писал он 3 марта 1880 года,—сообщить мне точнее о месте будущей ссылки, то-есть назначаюсь ли я в Восточную или в Западную Сибирь“.

На прошении губернатор Сомов положил резолюцию:

„Объявить Короленко через смотрителя, что ссылается в Восточную Сибирь“<sup>2)</sup>.

Но о причинах своей ссылки Владимир Галактионович так и не узнал официально. Только по дороге из Вышнего Волочка конвойный офицер, сопровождавший писателя, по секрету познакомил его со статейным списком.

По этому поводу Короленко писал:

„Причиной моей высылки оказался факт, со всеми свойствами осязательного конкретного факта. Уже в пути мне пришлось узнать, что я ссылаюсь „за побег!“ И притом с упоминанием об указе от 8 августа 1878 г. Стало быть, с перспективой Якутской области. И вдобавок узнал я об этом случайно, знать мне об этом тогда еще вовсе не полагалось, и сослаться на это я не мог. Не кажется ли вам, что едва ли жизнь может придумать что-либо трагичнее положения, в котором я очутился? Представьте, ведь я никакого побега не совершал!

Да и не думал. Из Глазова я выехал по распоряжению г. исправника, распоряжение это объявлено при понятых, с меня взяты соответственные подписки, ехал я на казенный счет. Из

Починков взят жандармами с собственной квартиры, которая указана местным волостным начальством, взят тоже при этом начальстве и понятых. Даже за самовольную отлучку (за которую приговаривали других ссыльных к месячному штрафу) ни разу не судился.

Когда же я бежал с места ссылки? — 3).

Ожидая отправки, писатель долгие месяцы томился в бездействии. Дело в том, что труд был вовсе исключен из распорядка дня Вышневолоцкой тюрьмы. Тоскливое ничегонеделание способно было свести с ума. Неудивительно, что среди первых же обитателей „пересыльной № 2“ имелись случаи психических заболеваний. Единственная возможность отдохнуть душевно — почитать литературу — также была крайне ограничена. Газеты находились под строжайшим запретом. Чтение книг разрешалось очень неохотно, причем губернатор Сомов и тюремная администрация всячески стремились свести круг чтения заключенных к „религиозно-нравственному“ минимуму. Долгое время, кроме библии и евангелия, в тюрьме вообще никакой литературы не было.

Мать писателя Евва Иосифовна, приехав в Вышний Волочек, пыталась передать сыну несколько книг. Но эта попытка закончилась полной неудачей: книги пришлось взять обратно. Не удалась и другая ее попытка — получить соответствующее разрешение через тверского губернатора. Лишь в третий раз, приложив все старания, Евва Иосифовна добилась успеха, но и то частичного: из тринадцати книг (названий), которые она просила передать Владимиру Галактионовичу, последний получил только семь. Под запретом оказались „Недоросль“ Фонвизина, „История“ Шлоссера, работы Янсона и Беляева по крестьянскому вопросу 4).

Огромных усилий потребовалось матери Короленко и на то, чтобы добиться более частых, чем это полагалось по тюремному расписанию, свиданий с сыном. Как правило, свидания с родными дозволялись заключенным только по воскресным и праздничным дням, и то с особого разрешения губернатора. Не раз Евва Иосифовна выезжала для этой цели в Тверь к губернатору Сомову, ходатайствовала перед начальником Верховной распорядительной комиссии, перед смотрителем тюрьмы — Лаптевым. Только благодаря ее настойчивости Владимир Галактионович больше, чем другие заключенные, имел свиданий с родными Еввой Иосифовной и сестрами. За время его пребывания в Вышневолоцкой тюрьме родные навестили его 28 раз 5).

Однако настойчивость матери Короленко привела и к тому, что сама Евва Иосифовна в качестве политически неблагонадежной была взята под негласный надзор вышневолоцкой полицией 6).

Крайне тяжело переживал Владимир Галактионович, вместе со всеми заключенными, запрещение писать. Переписка с родными, правда, допускалась, но письма можно было писать только три раза в неделю, в установленные дни, под особым наблюдением надзирателя. Надзиратель был первым цензором писем, смотритель — вторым; третью и окончательную инстанцию пред-

ставлял собою губернатор. Разумеется, литературная работа при этих условиях была почти невозможна. С большим трудом удавалось заключенным унести с собою в камеру банку чернил или получить при свидании, незаметно для надзирателей, карандаш. Одним из застрельщиков во всех этих делах был, как правило, Короленко. „Хитрости“, которые он применял, чтобы обмануть бдительность тюремной администрации, позволили ему написать в Вышневолоцкой тюрьме одно из первых своих произведений — очерк „Чудная“. Через жену литератора Н. Ф. Анненского, сидевшего в одной камере с Владимиром Галактионовичем, очерк был передан на волю и впоследствии, в 1905 году, напечатан в 9-ом номере журнала „Русское богатство“.

Очерк „Чудная“ справедливо относят к числу лучших созданий Владимира Галактионовича. Приходится только удивляться, как мог писатель, тогда еще делавший первые шаги в литературе, написать такое превосходное произведение в столь неподходящих условиях.

Вот как говорит по этому поводу в своих воспоминаниях один из сотоварищей Владимира Галактионовича по заключению — С. П. Швецов:

„Как он ухитрился это сделать, живя в „большой“ камере с ее вечной суетою, среди несмолкаемого гомона, — я совершенно не постигаю. Сделал это он, сидя на кровати, забравшись на нее с ногами и прижавшись в угол так, чтобы можно было писать на развернутой книге, положенной на согнутые колени... „Чудную“ он прочел нам на одном из наших собраний, где присутствовала вся тюрьма, в той же „большой“ камере... Впечатление было огромное“ <sup>7)</sup>.

Известна еще одна попытка Короленко написать художественное произведение, сделанная им в той же тюрьме. По предложению заключенного, писателя А. Дорошенко, произведения которого печатались в народных легальных и нелегальных журналах, был начат коллективный роман (по отзыву Короленко, — пустяково-шутливый). Дорошенко писал первую главу, в которой изобразил свою неудачную любовь к гувернантке детей помещика Солецкого. Вторую главу и иллюстрации к роману написал Короленко.

„В чудный вечер, на берегу гладкого пруда, при луне, под развесистым деревом молодой человек сидит с юной девушкой. Он революционер-пропагандист и зовет ее от дряхлого мира уйти с ним на пропаганду в Рязанскую губернию. Молодые люди обмениваются длинными, поучительными разговорами“ <sup>8)</sup>.

Таково, по воспоминаниям Короленко, содержание первой главы. В дальнейшем рядом с юношей появился мрачный нигилист. „Он зовет ее за собой в вологодские леса и начинает с того, что в первый же вечер кидает сладкого героя в пруд“ <sup>9)</sup>.

Роман не сохранился. По предположению Владимира Галактионовича, его уничтожил некто К. (Князевский), неодобрительно относившийся к этому литературному опыту.

Скука от безделья и отсутствие материальных средств побуждали обитателей Вышневолоцкой тюрьмы настойчиво добиваться права заниматься физическим трудом. Был поднят вопрос об открытии при тюрьме мастерских. Заключенные коллективно просили об этом губернатора, ревизовавшего тюрьму. Но формалист Сомов не принял устной просьбы. Подали письменную: ходатайствовали разрешить заключенным выделять панирные гильзы для продажи.

„Благодаря отсутствию книг, письменных принадлежностей и вообще правилам содержания в этой тюрьме заключенных, — говорилось в прошении, — мы принуждены проводить все время в совершенной праздности...“<sup>10)</sup>.

Большое заявление подал в канцелярию губернатора В. Г. Короленько. Еще находясь в ссылке, он научился сапожному ремеслу. Но в тюрьме ему было запрещено работать.

„Проживая до последнего времени в Вятской губернии, — писал он, — я занимался там сапожным мастерством как единственным средством существования (кормовые деньги мне были выданы только начиная с 6-го месяца ссылки). При недостаточных средствах, мне стоило большого труда и лишения, чтобы собраться на покупку инструмента и товара, в количестве, необходимом для этого дела. И вот, именно в ту минуту, когда я, наконец, получил товар, в который вложил все свои сбережения, в надежде воротить их работой, я был взят и привезен в Вышневолоцкую тюрьму, для пересылки в Сибирь. Товар и инструменты, какие можно было взять, привезены сюда со мною, при чем все деньги, какие оказались при мне в минуту прибытия сюда, выражаются в сумме 5 копеек серебром. С этими деньгами мне придется устраиваться в далеком и незнакомом месте, и даже приобретенный с таким трудом товар я не могу взять с собой по существующему правилу, допускающему пересылку с арестованным имущества в количестве не более 30 фунтов. Позволяю себе напомнить, что сопряженное с моим настоящим положением нарушение моих совершенно законных имущественных интересов не вызвано с моей стороны никаким действием, которое бы влекло за собою лишение каких бы то ни было прав, и мне неизвестны даже причины, которыми обусловлены все эти изменения в моей судьбе. На этом основании полагаю, что, ваше превосходительство, не найдете препятствий ходатайствовать мне заняться здесь сапожным делом, что дало бы единственную возможность обратить мой товар в деньги и таким образом восстановить мои законные интересы.

Если будет найдено неудобным подобное занятие в общей камере, то я позволю себе указать на возможность устранить это неудобство разрешением работать в известные часы в каком-нибудь отдельном помещении“<sup>11)</sup>.

Ни одна из этих просьб с точки зрения министерства внутренних дел удовлетворению не подлежала. Да и губернатор, с своей стороны, не считал возможным допускать острые и режущие инструменты в камеры заключенных. Естественно,

что на свою просьбу Короленко получил категорический отказ.

„Работать не дозволяется—это основная идея Вышневолоцкой тюрьмы,—писал редактору „Русского богатства“ известный читателям „Записок моего современника“ П. Волохов<sup>12)</sup>. В этом отношении дом предварительного заключения лучше: там я начал писать кое-что, здесь теперь обязуюсь пребывать в праздности“<sup>13)</sup>.

На запрос исправника, чем должны заниматься заключенные, последовал недвусмысленный ответ: „Ничем, кроме чтения религиозно-нравственных книг“.

Таким образом, исправить свое материальное положение личным трудом, обходясь без помощи родных, Короленко не удалось. Родные снабдили его одеждой, необходимой для дальней поездки, от них же писатель получил деньги—58 р. 53 к. Однако не всю эту сумму Владимир Галактионович израсходовал на себя. Писатель помнил и о своих старых друзьях. Незадолго до отправки из Вышневолоцкой тюрьмы он послал 12 рублей вятским ссыльным — крестьянину-ходоку Якову Богдану и фабричному рабочему Федору Лазареву<sup>14)</sup>.

Мы ничего не сказали о развлечениях, которые, несмотря на суровый режим, все же имели место в „пересыльной № 2“. Это—подвижные игры, правда, введенные в тюремный быт без разрешения начальства<sup>15)</sup>. Инициативу в этом отношении взял на себя один из заключенных—прапорщик Верещагин. Вот как об этих играх рассказывает Короленко:

„Двум завязывали глаза и одному из ослепленных таким образом давали в руки туго скрученный жгут. Остальные становились вдоль стен и наблюдали, как оба действующих лица искали ощупью друг друга. Вся соль состояла в том, что жертва, порой с самым хитрым видом прислушиваясь к шагам палача, как раз устремлялась навстречу его удара“.

А вот другая игра—„Скачка с препятствиями“.

„Один из нас,—читаем в „Истории моего современника“, —изображал лошадь, другой садился ему на плечи в виде седока и скакал вдоль коридора. У каждой камеры становились другие участники, и в то время, когда всадник мчался мимо дверей,—они имели право наносить ему удары по мягким частям. Всадник обязательно был в одном белье, и чем звонче раздавался шлепок, тем более это возбуждало веселье“<sup>16)</sup>.

Но камеры открывались только на два часа — в обеденную пору. Только в эти часы были доступны заключенным их весьма наивные развлечения...

Летом 1880 года из Вышневолоцкой тюрьмы были отправлены две партии ссыльных. В. Г. Короленко попал во вторую. Когда готовилась отправка первой партии, в которую вошли все сотоварищи писателя по камере, в среде заключенных произошел своеобразный раскол из-за денег. Рабочие-заключенные потребовали общего раздела всех собственных средств, другие стояли за необходимость сохранения старого порядка.



когда ограничивались сбором добровольных пожертвований. Так образовались две группы: „демократов“, или „коммунистов“, и „аристократов“.

Каких размеров достигла размолвка между членами этих групп, показывает случай, приводимый Короленко в своих воспоминаниях.

В тюрьме одновременно с Владимиром Галактионовичем сидел Яков Онуфриевич Девятников из города Свенцяны, считавшийся талантливым пропагандистом.

„Это был дюжий на вид, коренастый и, повидимому, сильный белорусс, успевший побывать в Америке в исканиях правды и лучшей жизни. На первый взгляд он походил на медведя и, когда я,—вспоминает Короленко,—описывал в своем рассказе „Без языка“ лозищанина Матвея и его борьбу с вызвавшим его на бокс американцем,—передо мной отчасти рисовалась фигура Девятникова, с которым был именно такой случай“<sup>17)</sup>.

Девятников стал „коммунистом“, тогда как Короленко, ежедневно занимавшийся с ним, примкнул к „аристократам“. И вот, несмотря на то, что Девятников имел огромную тягу к знанию—изучал математику, географию, статистику России, физику и т. д.<sup>18)</sup>, он все же отказался от дальнейших занятий с „аристократом“ Короленко.

Главарями „коммунистов“ и виновниками „переворота“ Короленко называет К-ского и Рождественского. В первом не трудно узнать судившегося по процессу 193-х—Князевского, народного учителя, подлежавшего ссылке за участие в так называемом Пудожском инциденте, то-есть в демонстративном протесте ссыльных поселенцев города Пудожя против известного циркуляра министра внутренних дел Макова о неотлучке с места поселения. Князевский был отправлен в ссылку одновременно с Короленко и вместе с ним был возвращен из Томска, чтобы отбывать надзор в Европейской России. Что же касается второго, то здесь очевидная ошибка. Мы проверили списки заключенных в Вышневолоцкой тюрьме за все время ее существования, и фамилии Рождественского в них не оказалось. Судя по описанию наружности Рождественского и по некоторым биографическим данным, под этим именем Короленко описал Виктора Павловича Благовещенского, сына священника, находившегося в Вышневолоцкой тюрьме с 10 мая 1880 года<sup>19)</sup>.

Короленко был отправлен из Вышнего Волочка в ссылку 17 июля 1880 года. В тот же день состоялось его последнее свидание с матерью и старшей сестрой Марией Лошкаревой. Владимир Галактионович забыл об этом свидании, когда писал, что его мать уехала задолго до отправки той партии, с которой он сам выбыл из тюрьмы.

Отправляемых ссыльных выстраивали обычно во дворе тюрьмы и отсюда уже, под усиленным конвоем солдат и жандармов, вели до железнодорожной станции. В статейном списке Короленко, составленном в Тверском губернском правлении, читаем:

„Владимир Галактионович Короленко. Из дворян. 26 лет. Рост 2 арш. 4/6 вершка. Волосы на голове русые, брови тоже, глаза карие, нос прямой, рот умеренный, подбородок круглый. Борода, баки и усы русые. Лицо круглое, чистое... Г. министром внутренних дел по соглашению с главным начальником III отделения собственной его императорского величества канцелярии... за побег из назначенного ему, Короленко, места жительства под надзором полиции в Глазовском уезде назначен к высылке на основании высочайшего повеления 8 августа 1878 года в Восточную Сибирь. Должен следовать под строгим присмотром“<sup>20</sup>).

\* \* \*

Вторично В. Г. Короленко приезжал в Тверскую губернию после освобождения из Якутской ссылки, куда он был отправлен за отказ присягнуть Александру III. Еще в Сибири писатель собирает сведения о Твери. В его записной книжке появляются справки о тверских ценах и гостиницах. В Тверь его влекла, очевидно, близость к двум столицам, которую он намеревался использовать, чтобы возобновить связи с знакомыми из литературного мира. 16 января 1885 года Короленко прибыл в Тверь. Но уже на следующий день без разрешения полиции отправился в Москву. Неизвестно, чем бы закончилась эта отлучка. Возможно, что повторилась бы история, подобная глазовскому „побегу“, если бы Владимиру Галактионовичу не удалось затем добиться разрешения на выезд из Твери. Во всяком случае, тверской губернатор и местная жандармерия искали Короленко как беглеца с места поселения<sup>21</sup>).

### Г. А. МАЧТЕТ

Годом раньше В. Г. Короленко в Вышневолоцкой политической тюрьме находился в заключении Григорий Александрович Мачтет, писатель, близкий к народникам, автор повестей и рассказов из сибирской жизни и др. произведений. В тюрьму он был доставлен под усиленным жандармским конвоем 21 января 1879 года и подлежал административной высылке в Восточную Сибирь.

В Вологде, по дороге к месту назначения, Мачтет тяжело заболел. Скитания по этапам надломли его организм. В Вышний Волочек писатель прибыл, едва держась на ногах. Режим Вышневолоцкой политической тюрьмы еще более ухудшил его расшатанное здоровье. Питание в тюрьме было крайне скудное. Правда, по распорядку дня полагались завтрак, обед и ужин, но казенных ассигнований не хватало и на обед: они составляли не свыше 12 копеек в день на каждого заключенного. О том, как мала была эта цифра, можно судить хотя бы по тому, что в Мценской пересыльной тюрьме для той же цели отпускалось тогда около 40 копеек в день, то-есть в три с лишним раза больше по сравнению с Вышневолоцкой<sup>1</sup>).

Скудность отпускаемого довольствия вынужден был призвать даже сам исправник, когда разрешался вопрос о тюремных наказаниях. К своему рапорту на имя губернатора он приложил заявление одного из заключенных, который жаловался, что „отпускаемых на продовольствие ежедневно по 12 коп. на человека нехватает даже на обед“<sup>2</sup>).

Скверное питание, тяжелый режим, а также сырое, полутемное помещение следует считать основной причиной большой заболеваемости среди обитателей Вышневолоцкой тюрьмы.

Лечением больных здесь никто всерьез не занимался. В тюремной больнице лекарств не было совершенно. Приставленный к больным городской врач больше свидетельствовал приметы, чем лечил. И это не было случайностью. Можно, например, отметить факт, когда за содержание в больнице серьезно заболевшего заключенного врач получил от губернатора выговор как „за излишние поблажки арестантам“. Легко себе представить, как много неприятностей пришлось пережить Г. А. Мачтету, который по состоянию своего здоровья все же вынужден был очутиться в условиях тюремно-больничного режима.

„Я болен — писал он в заявлении губернатору, — и по распоряжению тюремного врача помещен в тюремную больницу, где кроме меня находятся еще другие больные, из которых один — умирающий. Но помещение меня и других в больницу является в данном случае почти одной формальностью, влекущей за собою только изменение цвета и формы тюремного платья, так как я и другие больные не только лишены возможности пользоваться необходимым лучшим нищею, но и совершенно лишены лекарств, всякой медицинской помощи, кроме словесных указаний и советов врача. Ни я, ни мои товарищи не имели возможности приобретать лекарство на свои собственные средства, а врач, купивший два раза на свой счет лекарства умирающему, ныне категорически заявил, что доставлять нам лекарства он положительно не в состоянии, не может и на дальнейшее время отказывается...“

Свое заявление Мачтет закончил следующим весьма знаменательным утверждением:

„Мы в данном случае находимся в положении, аналогичном с положением осужденного на смерть, с тою только разницею, что последний может еще надеяться на помилование“<sup>3</sup>).

Разумеется, никаких „реформ“ в ответ на это заявление не последовало. По выходе из больницы, несколько томительных месяцев, до отправки очередного этапа, писатель проводит, на общих основаниях, изнывая от безделья. К этому времени относится его безуспешная попытка получить разрешение на литературный труд.

„Честь имею просить, ваше превосходительство, — писал он губернатору 7 февраля 1879 года, — разрешить мне окончить начатое мною беллетристическое произведение, для чего понадобится немного времени, так как оно доведено уже почти до конца. Такая работа, с одной стороны, облегчит мне мое настоящее положение,

тяжесть которого увеличивается именно отсутствием каких бы то ни было занятий и деятельности, с другой стороны—даст мне возможность выполнить свои обязательства перед редакцией.

При этом я даю свое честное слово вашему превосходительству, что никак не злоупотреблю сделанным мне снисхождением и в случае, если, ваше превосходительство, не найдете возможным дозволить мне отослать свою работу в редакцию,—я оставлю его у себя до более счастливого для меня времени<sup>4)</sup>.

Губернатор категорически отказал писателю в его просьбе. Литература у помпадуров была не в чести, а литераторы слыли у них людьми опасными. Именно этим объясняется и неодобрительная аттестация, внесенная Тверским губернским правлением в характеристику Мачтета: „хитрый и раздражительный“.

Томимый бездельем, еще неполно оправившийся от болезни, Мачтет стал инициатором борьбы заключенных за светскую книгу, за право читать художественную литературу в стенах Вышневолоцкой тюрьмы. Им был составлен обширный список книг по всем отраслям знания, включавший крупнейшие произведения человеческого гения всех времен и народов. Список этот писатель представил в канцелярию тверского губернатора, добиваясь для всех заключенных права выписывать книги из городских библиотек.

Губернатор, как и надо было ждать, отверг список и вместо него прислал разработанный кем-то из канцеляристов случайный перечень книг. Из 86 названий, фигурировавших в списке Мачтета, только семь попали в этот официальный перечень. Под запретом оказались творения гениальных русских поэтов Пушкина и Лермонтова, стихи великого поэта революционной демократии Некрасова, произведения Островского, Достоевского, Тургенева, Гончарова, Помяловского и „Война и мир“ Толстого.

Из представителей иностранной литературы были запрещены Байрон, Гейне, Свифт, Мильтон, Гюго, Беранже, Жорж-Санд, Жюль Верн, Шпильгаген, Бичер-Стоу и др.

Из естествоиспытателей не были допущены Дарвин, Менделеев, Гумбольдт и др.

Протест против запрещения светской книги еще более упрочил в глазах губернатора и тюремного начальства репутацию Мачтета, как застрельщика всех протестов. Вот почему, когда он 7 июня 1879 года, с одиннадцатью другими ссыльными, в сопровождении двух жандармских унтер-офицеров и 26 солдат вышневолоцкой уездной команды, выбыл из Вышнего Волочка, ему вдогонку был послан статейный список, в котором после перечисления внешних примет:

„Григорий Мачтет. Бывший учитель. Сын чиновника. Уроженец Волынской губернии, 28 лет. Рост 2 арш. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub> верш. Волосы на голове и брови темнорусые. Глаза серые. Нос и рот обыкновенные. Подбородок с борсдою. Лицо чистое...“—

Имелась приписка: „Должен следовать под строгим присмотром“<sup>5)</sup>.

Перед отправкой Мачтету пришлось много поволноваться. Забота писателя была направлена на то, чтобы дальнюю дорогу в Сибирь проделать без кандалов. Но, по распоряжению министерства внутренних дел, от кандалов освобождала только принадлежность к привилегированному сословию (дворяне) или же наличие не менее среднего образования.

На руках у Мачтета не оказалось документов, подтверждающих его образовательный ценз, — они были отобраны при аресте. Чтобы вернуть их, писатель усиленно хлопочет: шлет соответствующие запросы, пишет заявления губернатору.

В одном из заявлений писатель сообщает данные о своей служебной деятельности и образовании:

„В 1870 году, по выдержании установленного экзамена при экзаменационной комиссии Киевского учебного округа, я получил диплом на звание учителя истории и географии и по этому диплому был определен на службу учителем истории и географии сначала в Могилевское уездное училище Подольской губернии, а затем в Каменец-Подольское. В 1872 году я уехал в отпуск за границу и, за неявку в определенный срок к месту служения, был уволен от службы без прошения. В 1874 году, вследствие моего прошения попечителю Киевского учебного округа, — мне был выдан смотрителем Каменец-Подольского училища аттестат о моей службе, с каковым я проживал в Петербурге вплоть до ареста моего по обвинению в государственном преступлении в августе месяце 1876 года“<sup>6)</sup>.

Мачтету все же удалось избежать кандалов. Это в значительной мере облегчило его участь.

Отметим в заключение, что арест и ссылка писателя явились результатом его литературной деятельности. Местом первоначального поселения писателя был гор. Мезень. Отсюда „ввиду крайней неблагонадежности Мачтета и совершенного им побега“<sup>7)</sup> он был отправлен (после того, как пролежал некоторое время в Вологодской больнице) в Вышневолоцкую тюрьму.

\* \* \*

В Калининском областном историческом архиве удалось обнаружить документ, свидетельствующий о пребывании Мачтета под негласным надзором в Твери в 1886 году. Документ это — характеристика, составленная Тверским губернским жандармским управлением. В ней отмечается, что, проживая в Твери в 1886 году, Мачтет „вел знакомство с лицами политически неблагонадежными“<sup>8)</sup>.

---

## А. И. ЭРТЕЛЬ ПОД ГЛАСНЫМ НАДЗОРОМ

За связь с народническими кружками известный писатель А. И. Эртель был отдан в 1886 году под гласный надзор полиции. Местом отбытия высылки сам писатель избрал город Тверь, куда и прибыл в начале 1886 года.

„Елецкий исправник,—писал полицмейстер тверскому губернатору в донесении от 14 марта 1886 года,—сообщил мне, что по высочайшему повелению, последовавшему в 22 день января месяца сего года, разрешено дело административным порядком о воронежском мещанине Александре Эртель, обвиняемом в государственном преступлении, и названный Эртель подчинен гласному надзору сроком на 2 года. По собранным справкам оказалось, что Эртель проживает в гор. Твери, почему... поручив приставу 1 части гор. Твери об учреждении за Эртель строжайшего негласного наблюдения впредь до особого распоряжения... я имею честь донести о сем вашему превосходительству“<sup>1)</sup>.

Вскоре Эртель почувствовал всю тяжесть гласного надзора, с обязательными явками в полицейское управление, со слежкой, которая велась на улицах, проникала на квартиру (допросы хозяев, дворников, соседей)...

В канцелярии тверского губернатора писатель ответил на вопросы своеобразной анкеты, которую именовали „Списком о состоящем под гласным полицейским надзором“:

„Имя, отчество, фамилия и звание	Александр Иванович Эртель, мещанин воронежский.
Место родины	Воронежская губерния, село Келзово, Задонского уезда.
Лета	Тридцать.
Грамотность и место воспитания	Домашнее воспитание.
Был ли под судом или следствием	Состоял под следствием по обвинению в государственном преступлении с 4 апреля 1884 года.
Женат или холост. Если женат, то на ком	Женат на дочери кузда — Марье Ивановне, урожденной Федотовой.
Имеет ли родителей и кого имен-но, лета их и местожитель-ство	Мать Авдотья Петровна Эртель, 50 лет, живет в Воронежском уезде, в хуторе Дружба (Лутовинов), Хавско-Покровской волости.

Следует ли за ним в место ссылки кто-либо из его семьи и кто лично Никто не следует из родных.

Имеет ли собственные средства существования и в чем они заключаются Не имеет.

Знает ли какое ремесло Не знает.

Чем до сего времени добывал себе средства существования, как сам, так и его жена Литературным трудом. Средства жены ему неизвестны, кроме тех, которые он уделяет ей из своих средств<sup>2)</sup>.

Годы, предшествовавшие ссылке, были в жизни Эртеля одними из наиболее трудных. На них падает кризис его общественных взглядов. В то же время ломаются и семейные отношения писателя. Ломка эта завершается созданием второй семьи, уже в тверской период жизни Эртеля.

„... До 80-го года я полз вверх,—писал Эртель в своем автобиографическом письме Черткову 13 июля 1888 года,—употреблял усилия, чтобы стряхнуть с себя шкуры самоучки, дикаря, конторщика, арендатора; с 80 по 82 болел и лечился, с 82 по 85 кутил (иносказательно), терзался, терзал других, изнывал во всяких личных вопросах; с 85 по 88 сначала находился „на пороках“, потом в административной ссылке, привязанный к Твери до февраля 88 года“<sup>3)</sup>.

В Твери закончилось формирование нового мировоззрения писателя. С известными оговорками следует признать, что до середины 80-х годов Эртель находился под заметным воздействием народнических представлений. Со второй половины 80-х годов взгляды его подверглись значительной ломке. Пережив „общее разочарование“, Эртель к концу 80-х годов начинает верить в творческие силы нового восходящего класса—буржуазии. Разумеется, вовсе не следует думать так, что с этого времени писателя перестает интересовать жизнь широких народных масс. Ведь это он писал в феврале 1891 года А. С. Пругавину: „Как доктрина, как партия, как учение—„народничество“ решительно не выдерживает критики, по в смысле настроения оно и хорошая и влиятельная сила“. Огромное воздействие на Эртеля оказали новые знакомства, которыми изобилвала его тверская жизнь. Местная жандармерия, два года не выпускавшая писателя из своего поля зрения, отмечала среди его знакомых, особенно часто посещавших изгнанника и принимавших его у себя,—столпов земского либерализма Тверской губернии: братьев Петрункевичей и особенно П. А. Бакунина; таких же, как и сам Эртель, поднадзорных из народников: сотрудника „Современника“ и „Отечественных записок“ В. Лесевича, Нордштейна (сына известного адмирала), Девеля, Недзиковского и Рождественскую<sup>4)</sup>.

Правда, список этот, составленный жандармами, далеко не исчерпывал всех знакомых писателя. В нем нет Н. Н. Ге (сына знаменитого художника), с которым Эртель сошелся до-

вольно близко, нет писателя Мачтета, сыгравшего не последнюю роль в формировании эртелевского мировоззрения. Нет либерала Вульфа и Всеволожских, к которым в середине мая 1887 года ездил Эртель в Новоторжский уезд (одно время писатель собирался взять на себя управление их имениями). Нет либерала кн. Д. Шаховского, проживавшего тогда в г. Весьегонске, нет врача Таирова—одного из крупнейших представителей местных народнических интеллигентских кружков.

„В Твери,—писал Черткову Эртель,—я познакомился и сошелся близко с Павлом Александровичем Бакуниным и затем как-то очень быстро с Николаем Николаевичем Ге (сыном)... В спорах Ге со мною, с Мачтетом, жившим в то время в Твери, с Бакуниным и с Петрункевичами выяснились передо мною многие стороны в мыслях Л. Толстого, выяснилось многое несостоятельное в моих прежних воззрениях и, наоборот, выяснилось кое-что несостоятельное и произвольное в мыслях Л. Н. Толстого и его горячего сторонника Н. Н. Ге. Одним словом, тверская жизнь первых двух зим (85-86, 86-87) дала мне возможность утвердить мое мировоззрение на гораздо более широких основаниях, чем прежде, и найти смысл в этой кажущейся сумятице жизни“<sup>5)</sup>.

Отбыв положенный срок в Твери под надзором полиции, Эртель в дальнейшем переписывался с тверскими друзьями, из которых многие оказались в разных уголках страны. Особенно интенсивна была переписка с П. А. Бакуниным, с которым писатель обсуждал свои творческие планы, а также произведения, уже вышедшие из печати.

„... В важные минуты жизни,—писал он Бакунину 31 декабря 1889 года,—в те минуты, когда жизнь не обычной рябью, а глубоким волнением отражается на душе, верьте, я чувствую тот след, который вы оставили во мне, я с признательностью вспоминаю наше знакомство... Так бы иногда хотелось очутиться на Секретарской (так называлась улица в Твери, на которой находилась квартира П. А. Бакунина. В настоящее время переименована в Вольную.—*Н. Ж. и Н. П.*), послушать вас, поговорить с вами, как три-четыре года тому назад... Что греха таить, я явился в Тверь во многих отношениях диким человеком; политико-экономические и иные нормы почти целиком исчерпывали мое мировоззрение; те вопросы, которые представляются теперь мне неизмеримо важными, сполна казались тогда не стоящими внимания...“<sup>6)</sup>.

Обширные знакомства среди тверской интеллигентной молодежи из поднадзорных и лиц, принадлежавших к земской либеральной оппозиции, сильно повлияли на характер творчества писателя.

В Твери Эртель написал ряд очерков, помещенных в „Русских ведомостях“ под общим заголовком „Из деревни“, повесть „Две пары“ (1887), напечатанную в журнале „Русская мысль“, речь о В. М. Гаршине. Здесь же летом 1889 года он закончил



свое крупнейшее по объему и наиболее значительное по содержанию произведение—роман „Гарденины, их дворня, приверженцы и враги“.

Есть основания утверждать, что появление этих произведений стало возможным только после обстоятельного знакомства писателя с жизнью интеллигенции и помещиков во время пребывания его в Твери. Это целиком относится к повести „Две пары“. Образы Сергея Петровича и супругов Летятиных созданы, безусловно, на основе тверских наблюдений над либералами, в кругу которых Эртель вращался.

Роман „Гарденины“, как известно, рисовал гибель старого помещичье-крепостнического уклада в условиях развивавшихся капиталистических отношений (действие романа разворачивается в семидесятые годы). „Гарденины“ подводили итог мировоззренческому перелому, который пережил к тому времени Эртель. Особенно многое для понимания поворота во взглядах писателя дает образ Николая Рахманного, земского деятеля и торговца, пользующегося уважением крестьян. Именно с этим образом следует связать такое, например, высказывание Эртеля по поводу „Гардениных“ (см. письмо к Черткову от 18 ноября 1888 года): „Молю бога лишь о том, чтобы удалось показать, каким образом в сумятице черной и во многом отвратительной работы созидания (а во многом доблестной) пробивалась светлая мысль, образовывались не ахти какие, но все же такие течения, наблюдая которые можно воскликнуть: „Да, жить можно!“

Но ведь в таком духе рассуждает и Николай Рахманный.

В „Гардениных“, являющихся художественной переработкой воспоминаний автора о своей юности, тверские наблюдения помогли писателю нарисовать полную картину жизни пореформенного поместья. Если жизнь крестьян, помещичьей дворни и арендаторов была известна писателю еще в период создания „Записок степняка“, т. е., примерно, с 1879 по 1881 год, то жизнь и образы помещиков, как об этом уже говорилось в отношении повести „Две пары“, стали доступны ему только после тверских знакомств. Что касается студента Ефрема Капитоновича, то несомненно, что он написан по наблюдениям над теми „неблагонадежными“ людьми, сношение с которыми тверская полиция ставила в вину Эртелю в своих характеристиках.

Отметим кстати, что тверское подполье долго держало связь с Эртелем и после его отъезда. Один из первых пропагандистов марксизма в Твери К. Левин, работавший учителем в торговой школе Тверской мануфактуры Морозовых, переписывался, как отмечала жандармерия, с писателем и неоднократно к нему ездил. Был знаком лично и переписывался с Эртелем один из первых русских марксистов П. Н. Скворцов<sup>7)</sup>.

Надо полагать, что известная доля тверских наблюдений нашла себе отражение и в романе „Смена“, который был написан Эртелем, повидимому, уже вне Твери. Предлагая для „Русской мысли“ начатый им роман, Эртель в письме к редактору В. А. Гольцеву разъяснял содержание „Смены“: „Под

сменой разумеется та культурно-общественная метаморфоза, силою которой сходят со сцены интеллигентные люди барских привычек, барского воспитания, с их нервами, традициями, чувствами, отчасти идеями, уступая свое место далеко не столь утопическим, но гораздо более приспособленным к борьбе людям“.

В качестве представителей этих новых, „гораздо более приспособленных к борьбе людей“ писатель вывел в романе образы буржуазного предпринимателя—арендатора Ильи Прыткова и просвещенного купеческого сына—Ивана Алферова. Иными словами, линия, начатая Эртелем в „Гардениных“, была им продолжена в другом его крупном произведении — романе „Смена“.

\* \* \*

Для Тверской губернии имя А. И. Эртеля особенно примечательно, как имя писателя, много помогавшего начинающим литераторам. Сохранилась переписка Эртеля с Николаем Александровичем Спиридоновым, который под руководством писателя стал печатать свои произведения в лучших журналах того времени (под псевдонимом Нила Староверова). Письма Эртеля к Спиридонову—это разбор рассказов адресата, наставления, как писать.

„Пишу вам, Николай Александрович, несколько строк, чтобы известить вас о получении двух ваших рассказов. Один я прочитал, но пока только вскользь („Счастливец“)—и думаю, что он будет вполне пригоден для печати; так что... с вашего позволения, отдам его в Москве в „Русскую мысль“; в нем однако есть и недостатки,—как и во всем в нашем мире,—на которые постараюсь указать в следующий раз“<sup>8)</sup>.

В этом же письме Эртель подверг критике отдельные сцены из другого рассказа Спиридонова, в которых последний пошел по пути натуралистов, описывая в их манере половые извращения мальчика.

„Весь ведь вопрос в вашем рассказике,—писал Эртель 25 сентября 1887 года,—в том и состоит, чтобы показать, как извращается и как болеет душа чуткого и нервного мальчика, принужденного дышать тягостной атмосферой лжи и формалистики; факт полового извращения тут второе дело—его могло даже и не быть, тем не менее равновесие в его маленькой душе уже утрачено и в ней уже разрослись губительные семена болезненной мечтательности и горячего, преобладающего над волей воображения. А в этом и все дело“<sup>9)</sup>.

Продолжая критический разбор отвергнутого им рассказа—„В царстве фей“,—который Эртель называет произведением несравненно более талантливым, чем одобренный им же к печати рассказ „Счастливец“, он, имея в виду образ главного героя рассказа, поучает молодого автора:

„... Вы увлеклись, когда описывали день Володи в классе; судорожные и малозначительные перемены в его настроении вы отмечаете, несомненно, с фотографической точностью, но в

том-то и различие фотографии от сознательного описания, что фотография берет все, а сознание то, что ему нужно. У вас это тем более заметно, что вы всю обстановку класса, ход занятий показываете читателю сквозь призму Володиного настроения. Читатель постольку видит все, поскольку он видит сквозь психологию и сквозь ощущения Володи, и видит, надо сознаться, тускло потому, что Володины ощущения так и рябят в глазах своей мелкостью и пестротой. Мешают усмотреть самый-то смысл картины<sup>10</sup>).

Очень интересно письмо Эртеля Спиридонову по вопросу о языке, о местных речениях, которыми тот часто пользовался.

„Нужно избегать областных словечек,—читаем в письме из Твери от 5 марта 1886 года.—как, например, „ему паит“, надо избегать ненужного воспроизведения исковерканных слов: „грю“, „картофий“ вместо „картошка“ или „картофель“. Есть характерное коверканье слова—это дело другое, так, например, когда-то „эмансипация“ называлась в народе „сипация“, т. е. производилась от „сипа“, „заглядывать в сип“... Вообще большая ошибка думать, что, изображая народный язык, нужно, так сказать, стенографировать его. Вовсе нет, нужно только понять особую оригинальность конструкции фразы и уловить ее, и затем, разумеется, пользоваться подлинными словами, но главное—конструкция фразы. Требуется ведь достигнуть вовсе не звукоподражания“<sup>11</sup>).

Как только рассказ Спиридонова появился в печати в майской книжке „Русской мысли“, Эртель на другой же день после получения журнала (23 мая 1888 года) поздравляет своего ученика с успехом.

„Первый шаг сделан,—пишет он.—От души желаю, чтобы последующие были столь же удачны... Бойтесь пуще всего небрежности—этой язвы „молодой“ нынешней литературы—в том числе и вашего покорного слуги. Бойтесь затем быть литератором „по ремеслу“. Литератор по ремеслу—большое несчастье“<sup>12</sup>).

Это последнее заявление старого писателя правильно характеризует положение литературы и литератора в тогдашней России. В самом деле, разве судьба самого Эртеля не является наглядным подтверждением сказанного?

В письмах Эртель рекомендует своему ученику не спешить печататься, быть всегда и во всем взыскательным к себе, к своим произведениям.

„Не спешите печататься, это не уйдет: спешите узнавать жизнь и водворять ту трезвость мысли и чувства, которые нераздельны с пониманием жизни. Иногда чувства, ох, как бурлят! Мысли—куда как разбредаются! Давайте перекипеть чувствам, старайтесь водворить стройность в ходе ваших мыслей—ведь только при этом условии может создаться действительно зрелое и значительное произведение. Чувство ведь точно вода в самоваре: кипит, бурлит, и чай выходит мутным и невкус-

ным, успокоится, придет в равномерное, хотя и очень горячее состояние,— выходит толк" <sup>13)</sup>.

Когда Спиридонов задумал писать стихотворения, он первые свои опыты прислал Эртелю. Заметив, что стихотворная форма Спиридонову удастся, что он легко мог бы попасть в печать, Эртель, однако, не рекомендует своему адресату спешить с печатанием, чтобы не умножать число посредственных и плохих стихов. Он советует учиться у народа.

„Случалось ли вам читать русские песни, сказки, былины, житие Аввакума, прислушиваться к говору и к рассказам крестьян, мещан, дореформенных купцов? Если нет, или без достаточного внимания, то надо. Это родник живой воды, который всегда будет давать жизнь, живописность и силу оборотам и выражениям и даже мыслям нашей „культурной“ поэзии. Не даром же Пушкин любил слушать свою няню. На наших глазах Л. Толстой обращался и обращается к этому источнику" <sup>14)</sup>.

Н. А. Спиридонов был учителем Весьегонского уездного училища; позднее, под влиянием народнических теорий, он из города переселился в деревню, где также учительствовал. Проект своего переселения Спиридонов в письмах обсуждал с Эртелем, который не отрицал для него пользы жизни в деревне, хотя не хулил и городской жизни. Единственно против чего Эртель возражал,—это против мысли бросить учительствовать и целиком отдаться литературе.

Эртель покинул Тверь в 1889 году, т. е. год спустя после окончания срока высылки.

---

## К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ „ЧАЙКИ“

Летом 1895 года старое поместье сестер Ушаковых — село Островно, Вышневолоцкого уезда, живописно расположившееся на берегу озера Островное, — переживало давно невиданное здесь оживление. В этом старинном дворянском гнезде, носившем явные следы упадка и крайнего разорения, снял себе дачу друг Николая и Антона Чеховых, знаменитый художник-пейзажист И. И. Левитан. До того, как поселиться в Островном, Левитан вместе со своей ученицей — художницей С. П. Кувшинниковой (прототип Ольги Ивановны Дымовой из рассказа А. П. Чехова „Попрыгунья“, 1892 г.) исколесил северную часть Тверской губернии.

Поместье Ушаковых на короткий срок зажило интенсивной культурной жизнью. В гостях у художника бывали поселившиеся неподалеку артисты Давыдов и Донской. По приглашению Левитана и Кувшинниковой, сюда приехала на дачу известная писательница Т. Л. Щепкина-Куперник, которой пришлось стать свидетельницей полутрагической любовной истории, случившейся со знаменитым художником.

На противоположном берегу озера Островное находилось имение „Горка“, принадлежавшее крупному петербургскому сановнику, тайному советнику Турчанинову. В середине лета в имение приехала жена сановника Анна Николаевна с двумя дочерьми. Завязалось знакомство с Левитаном.

Анна Николаевна была женщина немолодая, но, по словам Щепкиной-Куперник, „заботившаяся о своей внешности, с подведенными глазами, с накрашенными губами, в изящных корректных туалетах, с выдержкой и грацией настоящей петербургской кокетки“<sup>1)</sup>.

Между Кувшинниковой и Турчаниновой из-за Левитана завязалась борьба. Окончилась она „полной победой петербургской львицы и полным поражением бедной, искренней Софьи Петровны“<sup>2)</sup>.

Роман усложнился тем, что старшая дочь Турчаниновой также влюбилась в художника. Оказавшись в весьма затруднительном положении, Исаак Ильич решил покончить с собой. По счастью, дело ограничилось царапиной: пуля не задела черепа.

Турчанинова, у которой на даче лежал раненый художник, зная о дружбе между ним и А. П. Чеховым (к тому же Чехов

был врачом), телеграфировала последнему. Антон Павлович счел долгом приехать к пострадавшему.

„Я очутился на берегу одного из озер в 70—90 верстах от ст. Бологое,—писал он Лейкину 5 июля 1895 года.—Проживу я здесь неделю или полторы и поеду назад в Лопасню. Здесь на озере погода унылая, облачная. Дороги кислые, сено паршивое, дети имеют болезненный вид“<sup>3</sup>).

В письме к Суворину, написанном в тот же день, Чехов сообщал:

„Сюда я только что приехал и располагаюсь в двухэтажном доме, вновь срубленном из старого леса на берегу озера. Вызвали меня сюда к больному... Холодно. Местность болотистая. Пахнет половцами и печенегам“<sup>4</sup>).

История с Левитаном дала А. П. Чехову материал для его замечательной пьесы „Чайка“, которая писалась в конце 1895 года и была закончена 21 ноября. Об этом свидетельствует со слов самого писателя его брат Михаил Павлович:

„Что было там, я не знаю, но по возвращении оттуда он сообщил мне, что его встретил Левитан с черной повязкой на голове, которую тут же при объяснении с дамами сорвал с себя и бросил на пол. Затем Левитан взял ружье и вышел к озеру. Возвратился он к своей даме с бедной ни к чему убитой им чайкой, которую и бросил к ее ногам. Эти два мотива выведены Чеховым в „Чайке“<sup>5</sup>).

Правда, в биографической литературе о Чехове известны ссылки на иное происшествие, случившееся с Левитаном 7 апреля 1892 года в Мелихове и послужившее „зерном“ для чеховской „Чайки“. Об этом происшествии А. П. Чехов писал на другой день А. С. Суворину: „У меня гостит художник Левитан. Вчера вечером был с ним на тяге. Он выстрелил в вальдшнепа; сей, подстреленный в крыло, упал в лужу. Я поднял его: длинный нос, большие черные глаза и прекрасная одежда. Смотрит с удивлением, что с ним делать? Левитан морщится, закрывает глаза и просит с дрожью в голосе: „Голубчик, ударь его головкой по ложу...“ Я говорю: не могу. Он продолжает нервно пожимать плечами, вздрагивать головой и просить. А вальдшнеп продолжает смотреть с удивлением. Пришлось послушать Левитана и убить его. Одним красивым влюбленным созданием стало меньше...“<sup>6</sup>).

Очевидно, обе эти истории легли в основу замысла „Чайки“, и нет, повидимому, данных для того, чтобы отказываться от одной из них в пользу другой.

Известно, какую большую роль в „Чайке“, определившей в свое время новое направление в театральном искусстве, играет пейзаж. Сам Чехов в письме к Суворину от 21 октября 1895 г., в котором он говорил о характерных особенностях своей новой пьесы, особо отмечал „пейзаж (вид на озеро)“. Нам думается, что именно вышеупомянутый ландшафт и был использован писателем в пьесе.

Перед нами описание дачи помещицы Турчаниновой, сохранившееся в делах Тверского губернского статистического комитета:

„Имение „Горка“ на южном полуострове озера Островное. Место прекрасное. С юга за усадьбой сосновый бор, прямо вид на озеро, его острова, на восточный его берег с погостом и усадьбою сельца „Островно“, на западный крутой, поросший березовым лесом. С востока и запада от дома идут березовые рощи, расчищенные, с проведенными дорожками, между озером и домом прямо от террасы-балкона идет... садик. Цветник прекрасный и удачно разбит перед балконом... Как дача имение „Горка“—прекрасно. Сухая, песчаная земля, здоровый сосновый воздух и прекрасный бор, сад и чудный привольный вид на озеро с его зелеными маленькими островками, с белой церковью и высоким старым барским домом сельца „Островно“<sup>7)</sup>.

Имение Сориных, в котором разворачивается действие „Чайки“, удивительно напоминает имение Турчаниновых, где, как мы полагаем, окончательно оформился замысел писателя. В ремарках автора имеется указание и на парк, прорезанный аллеями („Часть парка в имении Сориных. Широкая аллея, ведущая по направлению от зрителей в глубину парка...“), и на большую террасу, и на озеро, и на цветник („В глубине направо дом с большою террасой, налево видно озеро... Цветники“).

По ходу пьесы мы узнаем, что отец и мачеха Нины Заречной—главной героини пьесы—уезжают на три дня в Тверь. Это заставляет думать, что место действия автор приурочивал к местности, расположенной где-то неподалеку от Твери. Когда Нина указывает Тригорину на барский дом и сад на другом берегу озера, когда она говорит об островках в озере,—все это невольно заставляет вспомнить поместье „Горка“, в котором некоторое время жил А. П. Чехов.

\* \* \*

Отметим еще один приезд Антона Павловича в Тверскую губернию, правда, уже не имеющий отношения к творческой истории „Чайки“. Летом 1896 года Чехов пробыл несколько дней в гостях у А. С. Суворина, который жил на даче возле станции Максатиха, Бежецкого уезда<sup>8)</sup>. Это была последняя поездка Антона Павловича в Тверскую губернию. Он болел туберкулезом. Болезнь усиливалась. Вскоре Чехов вынужден был уехать в Крым. Холодная, облачная и сырая Тверская губерния, вдохновившая на множество прекрасных картин его друга Левитана, не могла привлекать больного писателя. Да и Левитан после этого лета больше ни разу не приезжал на рисунки в те края, где родились его картины „У омута“, „Над вечным покоем“ и многочисленные зарисовки озера Островное.

---

## А. М. ГОРЬКИЙ НА КАМЕНСКОЙ ФАБРИКЕ

В годы скитаний по России великий пролетарский писатель А. М. Горький жил некоторое время в Тверской губернии. Он прибыл сюда из Нижнего Новгорода в конце октября 1897 года и поселился на Каменской писчебумажной фабрике купцов Кувшиновых. Здесь лабораторией заведывал его друг — окончивший в 1893 г. Московский университет химик Николай Захарович Васильев.

Приезд Горького в Каменку не остался незамеченным в полицейских кругах. Начальник Тверского губернского жандармского управления секретным порядком доносил 20 ноября 1897 года в департамент полиции:

„Состоящий под негласным надзором полиции в Самарской губернии  
Фамилия — Пешков

Имя — Алексей

Отчество — Максимов

Звание — мещанин

Прибыл в конце минувшего октября месяца в Тверскую губернию, поселился в с. Каменке, Новоторжского уезда“<sup>1</sup>).

Село Каменка в те годы было центром большой пропагандистской работы, которую вела группа революционно настроенных рабочих и интеллигентов. Н. З. Васильев стоял во главе этой группы. Под его руководством местные учителя вели антирелигиозную пропаганду среди крестьянской и рабочей молодежи и распространяли революционную литературу. Сам Васильев разъяснял рабочим необходимость борьбы с предпринимателями.

С Васильевым Горький познакомился и подружился задолго до приезда к нему. Еще будучи студентом Московского университета, Васильев стал учителем начинающего писателя.

„...Мой друг и учитель Н. З. Васильев, — писал впоследствии А. М. Горький, — человек, который ничего не внушал мне и только рассказывал и не стремился сделать меня похожим на него“<sup>2</sup>).

В 1893 году, когда уже появился в печати рассказ Горького „Макар Чудра“, но писатель еще „не мог преодолеть недоверия к себе“, Васильев без согласия Алексея Максимовича напечатал в „Русских ведомостях“ другой его рассказ — „Емельян Пилый“. Успех этого второго произведения окончательно определил судьбу Горького — он стал писателем<sup>3</sup>).

Мы, к сожалению, не знаем подробностей жизни Алексея Максимовича в Каменке. Но местные старожилы вспоминают гениального художника слова как вдумчивого и тонкого наблюдателя, как скупого на слово, но очень интересного собеседника.



„Бледный, исхудалый, он выглядел очень плохо, но настроение его всегда было бодрое, — отзываются о Горьком его казенские знакомые. — Он очень остроумно и весело рассказывал, остро реагировал на нечеловеческое отношение к людям. Неподкупной честностью, прямою и умом Алексей Максимович на всех нас производил сильное впечатление, хотя как писатель тогда еще был мало известен“<sup>4)</sup>.

Через Васильева А. М. Горький вошел в кружок местной передовой рабочей и интеллигентской молодежи. Попытка либеральных фабрикантов втянуть писателя в свой кружок не удалась. Бывая на вечерах, которые устраивала хозяйка предприятия, Алексей Максимович жадно выслушивал разговоры гостей — местных помещиков и фабрикантов, но сам, если к нему не обращались с вопросами, мог просидеть весь вечер молча. Очевидцы утверждают, что хозяйка и ее гости крайне обижались на молчаливость писателя и даже перестали приглашать его на свои званые вечера.

Из Каменки А. М. Горький ходил на соседний стекольный завод Ланина, чтобы ознакомиться с условиями работы стекольщиков.

„Алексей Максимович, — вспоминают старожилы, — заметно волновался и переживал, наблюдая, как рабочие изнемогают от жары и нечеловеческих усилий при выдувании стекла. На обратном пути всю дорогу он молчал, а за чаем не мог сдержаться, чтобы не выразить свое возмущение и негодование заводчиком“<sup>5)</sup>.

Глубоко интересовался А. М. Горький и жизнью крестьян в ближайших к фабрике деревнях. Известно, что крестьянство Тверской губернии даже в урожайные годы жило впроголодь. Своего хлеба до нового урожая никогда не хватало. Зима же 1897—1898 годов была особенно тяжела для крестьян Новоторжского уезда. Неурожайные годы, следовавшие один за другим, довели деревню до крайней степени нищеты. Голод стучался в избы.

„У многих крестьян, — совершенно секретно“ доносил исправнику пристав 2-го стана Новоторжского уезда, — в настоящее время не имеется для скота корма, каковой покупается в Торжке, кроме того, крестьяне некоторых селений уже начали раскрывать крыши соломенные для употребления этой соломы в корм скоту“<sup>6)</sup>.

Неплодородной, голодной и нищей видел Тверскую губернию Горький. Такой он и изобразил ее в своем последнем монументальном произведении „Жизнь Клима Самгина“:

„Недели через три Самгин сидел на почтовой бричке, ее катила по дороге, размытой внешними водами, пара шершавых, рыженьких лошадей, механически, точно заводные игрушки, перебирая ногами. Ехали мимо пашен, скучно покрытых всходами озими; неплодородная тверская земля усеяна каким-то щербом, вымытым добела.

— Хлеба здесь рыжик одолевает, дави его леший, — сказал возница, махнув кнутом в поле. — Это вредная растения такая, рыжик, желтеньки светочки, — объяснил он, взглянув на седока через плечо.

День был воскресный, поля пустынные; лишь кое-где солидно гуляли желтоносые грачи, да по невидимым тропам между па-

шен, покачиваясь, двигались в разные стороны маленькие люди, тоже похожие на птиц. С неба, покрытого рваной овчиной облаков, нерешительно и ненадолго выглядывало солнце, кисейные тряпочки теней развешивались на голых прутьях кустарника, на серых ветках ольхи, ползли по влажной земле“<sup>7)</sup>).

Таким представлялся тверской пейзаж А. М. Горькому спустя около сорока лет после пребывания в губернии. Эту замечательную по своей художественной яркости и правдивости картину гениальный художник взял, очевидно, из своих воспоминаний о поездке в Каменку. Поездка эта, по всем данным, происходила на лошадях со станции Торжок, как ближайшего к фабрике железнодорожного пункта. Сцену открытия крестьянами дверей хлебозапасного магазина, которую в пути наблюдал герой торьковской повести Самгин, также не спроста отнес писатель к Тверской губернии. Во второй половине XIX века и до первой русской буржуазно-демократической революции 1905 года такие „разгромы“ были здесь заурадным явлением.

\* \* \*

В Каменке Горький предполагал, очевидно, поселиться надолго. Начальник Полтавского губернского жандармского управления 23 декабря 1897 года писал в Тверское жандармское управление:

„Имею честь просить ваше высокоблагородие уведомить меня, не на постоянное ли жительство прибыл в Тверскую губернию состоящий под негласным надзором полиции мещанин Алексей Максимов Пешков. Сведения эти необходимы мне на предмет высылки вам дела на означенного поднадзорного“<sup>8)</sup>).

В 1897 году тверская жандармерия разгромила кружок каменных учителей. Хотя ни против Горького, ни против Васильева прямых улик не было, все же владельцы фабрики постарались избавиться от поднадзорного писателя и его беспокойного друга.

„Вы что думаете, я в Твери не был?—говорил Алексей Максимович делегации тверских комсомольцев в 1928 году, в ответ на приглашение приехать в Тверь.—Даже целую зиму прожил в Тверской губернии у купца Кувшинова на фабрике, вместе со своим приятелем-лаборантом. Потом Кувшиновы и меня, и приятеля моего с фабрики попросили. Не сошлись характером...“<sup>9)</sup>).

В январе 1898 года Алексей Максимович прибыл из Каменки в Тверь. Но здесь он задержался недолго. 23 января 1898 года начальник Тверского губернского жандармского управления секретным отношением сообщил в департамент полиции:

„Состоящий под негласным надзором в Самарской губернии

Фамилия — Пешков

Имя — Алексей

Отчество — Максимов

Звание — мещанин

Выбыл 15-го сего января в г. Нижний Новгород. О выезде сообщено начальнику Нижегородского губернского жандармского управления“<sup>10)</sup>).

Вслед за поднадзорным писателем покинул Каменку и его друг Васильев. Едва он успел выехать за пределы губернии, как уже начались „негласные расследования“ о нем и его при-

ятеле. Полиция старательно подбирала материалы, чтобы изобличить друзей в политической неблагонадежности.

„Вследствие требования господина начальника губернии за № 712, поручаю вам,—писал 15 марта 1898 года в срочно-секретном отношении полицейскому уряднику 6-го участка пристав 2-го стана Новоторжского уезда,—собрать негласным путем и в семидневный срок представить мне сведения о нравственных качествах и степенях политической благонадежности проживающего с 1893 года на Кувшиновской фабрике бывшего студента Московского университета Николая Захаровича Васильева“.

Это требование урядник немедленно выполнил. 17 марта 1898 года он доносил:

„...Васильев выбыл из фабрики товарищества Кувшинова в Московскую губернию числа 9-го минувшего февраля месяца, а за проживание его на сказанной фабрике нравственности был хорошей и в политических делах не замечен. Но Васильев более вел знакомство с лицами, состоящими под негласным надзором, как-то с Пешковым“<sup>11)</sup>.

А. М. Горькому так и не пришлось больше побывать в Тверской губернии, если не считать проездов по железной дороге. В 1914 году ожидался приезд в Россию из-за границы жены великого писателя Екатерины Павловны. Немедленно завязалась самая оживленная переписка между жандармскими и полицейскими чинами—полетели предписания, циркуляры, рапорты и донесения. Новоторжский уездный исправник разослал подведомственным ему чинам совершенно секретный циркуляр:

„Жена писателя Максима Горького (Алексея Пешкова) Екатерина Пешкова предполагает возвратиться в Россию. Департамент полиции требует установления за ней наблюдения. Давая знать об этом, предписываю вам, в случае прибытия ее во вверенный вам район, установить за нею наблюдение, а мне немедленно телеграфировать или донести с нарочным.

Пешкова Екатерина Павловна, урожденная Волькина, 33-х лет, высокого роста, худощавая, шатенка, довольно красивая, вид интеллигентный“<sup>12)</sup>.

Проезд Пешковой мимо Торжка не состоялся. Но, как видим, достаточно было только одного слуха о том, что проедет жена „опасного“ писателя, чтобы была поставлена на ноги вся новоторжская и даже вся тверская полиция. Факт весьма показательный для характеристики того животного страха, который испытывали представители царской власти перед растущим влиянием А. М. Горького в широких массах трудящихся.

В пооктябрьские годы связь А. М. Горького с Тверской губернией осуществлялась, главным образом, посредством переписки, которую вел писатель с представителями тверской общественности.

В 1927 году в Твери начала выходить губернская комсомольская газета „Смена“.—Как лучше вести газету? Какие в ней недостатки и как их исправить? Такими вопросами задавался молодой редакционный коллектив. За советом решили обратиться к Алексею Максимовичу.

В Сорренто (Италия), где Горький лечился, послали комплект „Смены“. С нетерпением стали ждать ответа. Алексей Максимович ответил вскоре.

„С газетой я вас, товарищи, искренне поздравляю: очень удалась—живая, бойкая, интересный материал, горячо подан, при том грамотнее некоторых провинциальных „взрослых“ газет. Может быть потому, что теперь для меня время бежит, как нахлестанное, и потому, что я слишком хорошо помню мучительно медленный шаг прошлого, но мне кажется, что вы, комсомол, растете удивительно быстро“<sup>13</sup>).

После возвращения Алексея Максимовича в Россию, 13 июня 1928 года делегация тверской рабочей молодежи посетила писателя в Москве и пригласила его приехать в Тверь. Горький изъявил свое согласие<sup>14</sup>). Но болезнь помешала ему выполнить это намерение: он был вынужден снова выехать за границу.

Во время вторичного пребывания Горького в Сорренто с ним вел переписку коллектив рабочих текстильной фабрики „Пролетарка“. В ноябре 1930 года конференция женщин-ударниц Твери послала Алексею Максимовичу пламенный привет в связи с опубликованием его знаменитой статьи „Если враг не сдается, его уничтожают“: „Мы, работницы, просим писателя-революционера и впредь своим блестящим пером помогать трудящимся СССР бороться под руководством нашей ленинской партии на основе ее генеральной линии за промфинплан, за пятилетку в четыре года, за социализм“.

В 1931 году, когда великий пролетарский писатель окончательно возвратился на родину, литературный кружок „Пролетарки“ приветствовал его письмом:

„Приветствуем нашего Горького—первого пролетарского писателя, неутомимого красногвардейца пера, борца за мировую революцию“<sup>15</sup>).

В ответ на приветствие писатель, в свою очередь, прислал письмо, в котором призывал рабочих, членов литкружка, учиться, овладевать техникой писательского дела.

„Надо твердо усвоить,—писал он,—что всякое дело требует точного знания его техники. Значит: надобно учиться с той же ударностью, с тем же напряжением энергии, с которыми вы работаете в цехах. А затем—не забывайте, что огромная и успешная работа, которую вы ведете, все еще не находит достаточно яркого отражения в текущей нашей литературе. Стало быть: опять-таки—бейтесь за обладание словом и образом. Силы у вас на все хватит“<sup>16</sup>).

Особенно следует отметить переписку М. Горького в „год великого перелома“ с крестьянами дер. Бараново, Лихославльской волости, Новоторжского уезда. В феврале 1929 года Алексей Максимович принял шефство над Барановской избы-читальней, которой прислал библиотеку из тысячи книг. На его же средства изба-читальня была радиофицирована. Помощь и указания писателя облегчили бедноте этого села борьбу с кулачеством и ускорили организацию в Баранове коллективного хозяйства<sup>17</sup>).

---

## П Р И М Е Ч А Н И Я:

### БЕЛИНСКИЙ В ПРЯМУХИНЕ

1) Лажечников И. И. Заметки для биографии Белинского. См. сборник „Виссария Григорьевич Белинский в воспоминаниях современников“. Сост. М. К. Клеман. Изд. „Academia“ Л., 1929 г., стр. 40—41. 2) Коплан Б. И. Из литературных исканий конца XVIII и начала XIX веков (А. М. Бакунин и В. В. Капнист)—в сборн. „Материалы общества изучения Тверского края“, в. VI, Тверь, апрель 1928 г., стр. 27. 3) Белинский. Письма. Ред. и примеч. Ляцкого, ч. I (1829—1839). СПб, 1914 г., стр. 120. 4) В Прямухине была писчебумажная фабрика. 5) В. Г. Белинский. Письма, стр. 205. 6) Там же, стр. 288. 7) Там же, стр. 159. 8) Там же, стр. 121—122. 9) Там же, стр. 159—160. 10) Там же, стр. 121—123. 11) Там же, стр. 273. 12) Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем 1828—1876, т. II. Гегелианский период 1837—1840. Изд. Всесоюзного об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М., 1934 г., стр. 118. 13) Белинский. Письма, т. I, стр. 210. 14) Корнилов. Молодые годы Бакунина, стр. 258. 15) Белинский. Письма, т. I, стр. 274. 16) За напечатание „Философических писем“ Чаадаева журнал „Телескоп“ в 1836 году был закрыт, редактор журнала Надеждин выслан в Усть-Сысольск, а на квартире Белинского был произведен обыск. 17) Станкевич. Переписка, стр. 619—620. 18) Лемке. „Николаевские жандармы“, стр. 423. 19) Белинский. Письма, т. I, стр. 289. 20) Там же, стр. 175. 21) Там же, стр. 133. 22) М. А. Бакунин. Собрание сочинений и писем 1828—1876, т. I. Доггелианский период 1828—1837. Изд. Всесоюз. об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев, стр. 311. 23) Белинский. Письма, т. I, стр. 214. 24) Белинский. Письма, т. I, стр. 205—206. 25) Там же, стр. 214 (Письмо М. А. Бакунину). 26) Там же, стр. 221. 27) Там же, стр. 158. 28) Там же, стр. 309. 29) Бакунин М. А. Собрание сочинений и писем 1828—1876, т. II. Гегелианский период 1837—1840. Изд. Всесоюз. об-ва политкаторжан и ссыльно-поселенцев. М., 1934, стр. 212—213. 30) Белинский. Письма, т. II (1839—1843), СПб, 1914 г., стр. 124. 31) Белинский. Письма, т. I, стр. 11. 32) Там же, стр. 30. 33) Там же, стр. 236. 34) Там же, стр. 274. 35) Там же, стр. 295. 36) Там же, стр. 319. 37) „Отечественные записки“—журнал, издававшийся Краевским, который редактировал В. Г. Белинский. 38) Белинский. Письма, т. II, стр. 328. 39) Там же, стр. 338. 40) Там же, стр. 389. 41) Библиотека архивного отдела НКВД по КО, № 109. 42) Лернер Н. Белинский. Критико-биографический очерк. Изд-во З. И. Гржебина, Берлин-Петроград, 1921 г., стр. 73—74.

### В ПОИСКАХ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРАВДЫ

(О Лажечникове)

1) Загоскин М. Н., Полевой Н. А., Кукольник Н. В. 2) Тургенев И. С., Толстой Л. Н., Достоевский Ф. М., Гончаров И. А., Островский А. Н. 3) Цейтлин А. Г. Русская литература первой половины XIX в., стр. 293—294. 4) Заметки для биографии В. Г. Белинского, „Московский вестник“, 1857, № 17. 5) Там же. 6) Венгеров С. А. Критико-биографич. очерк о Лажечникове в полном собрании его сочинений. Изд. М. О. Вольф, 1902. 7) Белинский В. Г. Собрание сочинений под ред. Иванова-Разумника, т. V, стр. 470. 8) Там же. 9) Белинский В. Г. Собрание сочинений, т. I, стр. 235. 10) Венгеров С. А. Критико-биографич. очерк, стр. 127.

## А. Н. ОСТРОВСКИЙ В ТВЕРСКОЙ ГУБЕРНИИ

- 1) Ленин, т. XV, стр. 108—109. 2) Островский. Дневники и письма. „Academia“, 1937 г., стр. 36. Максимов С. В. в статье „Александр Николаевич Островский (по моим воспоминаниям)“, помещенной в № 5 журнала „Русская мысль“ за 1897 г., ошибочно приписал эти слова А. Н. Сомову, который был тверским губернатором с 31 марта 1868 года. 3) Там же, стр. 23. 4) Колосов В. И. История Тверской духовной семинарии. Ко дню 150-летнего юбилея семинарии. Тверь, 1889 г., стр. 456. 5) Максимов С. В. Литературная экспедиция, журн. „Русская мысль“, кн. 11 за 1890 г., стр. 29. 6) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 25. 7) Там же, стр. 29. 8) Там же, стр. 31. 9) Там же, стр. 32. 10) Ф. канц. тверского губернатора, д. 28248, л. 6—89. 11) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 32. 12) Там же, стр. 32. 13) Там же, стр. 33. 14) Ф. канц. тверск. губернатора д. 11023, л. 1—20. 15) „История борьбы царизма со старообрядчеством в Ржевском крае“. Сборник „Ржевский край“ № 1, стр. 84—86. 16) Гос. театр. музей имени Бахрушина, рук. № 10948, л. 33 обор. 17) Островский. Дневники и письма, стр. 27. 18) Гос. театр. музей имени Бахрушина, рук. № 10948, л. 31. 19) Ф. тверск. дух. консистории, д. 16005, л. 139 обор. и 140. 20) Островский А. И. Дневники и письма, стр. 26. 21) Гос. театр. музей имени Бахрушина, рук. № 10948, л. 21—25. 22) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 33. 23) Белюстин. Из заметок о г. Старице, см. „Тверские губ. ведомости“, часть неофициальная № 21 за 1853 г., стр. 69—70. 24) Островский А. Н. Путешествие по Волге от истоков до Нижнего Новгорода. Собр. соч. изд. „Просвещение“, 1896 г., т. VII, стр. 504. 25) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 39. 26) Островский А. Н. Путешествие, стр. 503. 27) Там же, стр. 500. 28) Там же, стр. 500—501. 29) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 38. 30) Островский А. Н. Путешествие, стр. 501. 31) Там же, стр. 503. 32) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 38. 33) Там же, стр. 37. 34) Там же, стр. 22—23. 35) Там же, стр. 34. 36) Там же, стр. 39. 37) Там же, стр. 40. 38) Островский А. Н. Путешествие, стр. 513. 39) Там же. 40) Там же, стр. 515. 41) Там же, стр. 519. 42) Там же, стр. 521. 43) Там же, стр. 522. 44) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 29. 45) Островский А. Н. Путешествие, стр. 525. 46) Там же, стр. 526. 47) Там же, стр. 527. 48) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 81. 49) Там же, стр. 207. 50) Там же, стр. 33. 51) Там же, стр. 34. 52) Там же, стр. 207—208. 53) Там же, стр. 204. 54) Там же, стр. 28. 55) Там же, стр. 34. 56) Максимов С. В. Литературная экспедиция, журн. „Русская мысль“, кн. II, 1890 г. 57) Там же. 58) Максимов С. В. „Александр Николаевич Островский (по моим воспоминаниям)“, журн. „Русская мысль“, кн. V за 1897 г., стр. 9—10. 59) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 31—32. 60) Максимов С. В. Лит. экспедиция, стр. 41. 61) Островский А. Н. На бойком месте, д. II, явл. 6. 62) Островский А. Н. Доходное место, д. V, явл. 3. 63) Там же, действ. II, явл. 4. 64) Там же, действ. V, явл. 3. Сравни. фонд Тверской губ. уч. архивной комиссии, д. 1438. 65) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 207. Фамилия Филиппова нами прочитана по рукописи № 10948 в Театральном музее имени Бахрушина. 66) Шамбинаго С. К. Из наблюдения над творчеством Островского. В юбилейн. сборнике под ред. Шамбинаго „Творчество А. Н. Островского“. 67) „Воевода“, действ. V, явл. 5. 68) „Бесприданница“, действ. II, явл. 9; Дневники и письма, стр. 28. 69) Максимов С. В. Литературная экспедиция, см. журн. „Русская мысль“, кн. II за 1890 г., стр. 40. 70) Островский А. Н. Путешествие, стр. 53—524. 71) „Гроза“, действ. III, сцена II, явл. 3. 72) Там же, действ. II, явл. 7. 73) Там же, действ. III, сцена II, явл. 2. 74) Там же, действ. III, сцена I, явл. 3. 75) Там же, действ. I, явление 1. 76) Там же, действ. III, сцена I, явление 3. 77) Там же, действ. I, явл. 2. 78) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 40. 79) „Гроза“, действ. I, явл. 7. 80) Островский А. Н. Дневники и письма, стр. 26. 81) Шамбинаго, цит. раб., стр. 300. 82) „Гроза“, действ. I, явл. 1. Дневники и письма, стр. 34. 83) Газ. „Тверские губернские ведомости“ за 1862 г., неофициальная часть, № 11, стр. 47. 84) Та же газета за 1862 г., № 17, стр. 73. 85) Ф. канц. тверск. губернатора, д. 1405, л. 1. 86) Там же, л. 2.

## ДОСТОЕВСКИЙ В ТВЕРИ

- 1) К. Маркс и Ф. Энгельс. Манифест коммунистической партии. ОГИЗ, 1939 г., стр. 65. 2) Вольчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев.

Изд. Академии наук СССР. М.—Л., 1936 г., стр. 52. <sup>8)</sup> Там же, стр. 173.  
<sup>4)</sup> Достоевский Ф. М. Письма. Т. I. Под ред. А. С. Долинина. ГИЗ, М., 1928 г., стр. 137. В последующем при ссылке на это издание оно будет обозначаться: „Письма“. <sup>5)</sup> Письма, т. I, стр. 141. <sup>6)</sup> Достоевский Ф. М. Материалы и исследования. Под ред. А. С. Долинина. Изд. Академии наук СССР, Л., 1936 г., стр. 443. В последующем ссылки на этот источник будут обозначаться: „Материалы и исслед.“. <sup>7)</sup> Письма, I, 244. <sup>8)</sup> Письма, I, 544. <sup>9)</sup> Калининский обл. историч. архив, Ф. канц. воен. губернатора г. Твери, св. 49, д. 11029 на 11 листах. <sup>10)</sup> Письма, I, 269. <sup>11)</sup> Письма, I, 271. <sup>12)</sup> Есть основание думать, что временная квартира Достоевского находилась в одном из двух нижних этажей дома № 1 по Пушкинской улице, принадлежавшего Гальянову. <sup>13)</sup> Материалы и исслед., стр. 511. <sup>14)</sup> Письма, I, 599. <sup>15)</sup> Письма, II, 559. <sup>16)</sup> Письма, I, 252. Подчеркнуто у Достоевского. <sup>17)</sup> Письма, I, 251. <sup>18)</sup> Письма, I, 271. <sup>19)</sup> Материалы и исслед., 444. Подчеркнуто в письме Плещеева. <sup>20)</sup> Письма, I, 252. Подчеркнуто у Достоевского. <sup>21)</sup> Письма, I, 255. <sup>22)</sup> Письма, I, 603. <sup>23)</sup> Письма, I, 603. <sup>24)</sup> Письма, I, 256. <sup>25)</sup> Письма, I, 260. <sup>26)</sup> Письма, I, 256. <sup>27)</sup> Письма, I, 257. <sup>28)</sup> Материалы и исслед., 523. <sup>29)</sup> А. П. Милюков стоял близко к кружку петрашевцев. В 80-х годах написал воспоминание о Достоевском. См. Милюков А. П. Литературные встречи и знакомства. СПб, 1890 г. <sup>30)</sup> Письма, I, 166. <sup>31)</sup> Письма, I, 167. <sup>32)</sup> Письма, II, 589. <sup>33)</sup> Письма, I, 253. <sup>34)</sup> Материалы и исслед., 515. „Lehrjahre“ („Годы учения“) и „Wanderungen“ („Странствия“) — романы Гёте, в которых героем является Вильгельм Мейстер. <sup>35)</sup> Материалы и исслед., 521. <sup>36)</sup> Письма, I, 164. Подчеркнуто у Достоевского. Под очень удобным случаем Достоевский подразумевает передачу рукописи через надежного человека. <sup>37)</sup> Письма, II, 605. Подчеркнуто у Достоевского. <sup>38)</sup> Материалы и исслед., 523. <sup>39)</sup> Письма, II, 608. <sup>40)</sup> Письма, I, 293. <sup>41)</sup> Письма, I, 264. <sup>42)</sup> Письма, I, 603. <sup>43)</sup> См. Олисов В. П. К пребыванию Ф. М. Достоевского в г. Твери. „Красный архив“, т. IV, 1923 г., стр. 398. Здесь опубликованы документы из дела о Достоевском, которое хранится в Калининском обл. историч. архиве, ф. канц. воен. губернатора, д. 11029. <sup>44)</sup> Письма, I, 252. <sup>45)</sup> Письма, I, 254. <sup>46)</sup> Письма, I, 257. Подчеркнуто у Достоевского. <sup>47)</sup> Материалы и исслед., 445. <sup>48)</sup> Калининский обл. историч. архив, ф. канц. воен. губернатора г. Твери, св. 498, д. 11029, л. 8, 9 и 10. <sup>49)</sup> Письма, I, 285. <sup>50)</sup> Письма, I, 262. Паша Исаев — пасынок Достоевского. <sup>51)</sup> Материалы и исслед., 451. <sup>52)</sup> В. И. Ленин. „Крестьянская реформа“, Сочин., т. XV, стр. 143. <sup>53)</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Изд-во „Просвещение“, т. X, „Идиот“ ч. I, стр. 147. <sup>54)</sup> Там же, ч. II, стр. 371.

## СТРАНИЦЫ К БИОГРАФИИ Г. Е. НЕЧАЕВА

<sup>1)</sup> Фонд тверской духовной консистории, д. 15196, л. 11—12. <sup>2)</sup> По рассказу брата писателя — Якова Ефимовича (1940 г.). <sup>3)</sup> Нечаев Е. Автобиография. Сб. „Пролетарские писатели. Антология пролетарской литературы“. ГИЗ, М., 1924 г., стр. 433. <sup>4)</sup> Нечаев Е. Е. Гута. Изд. „ЗИФ“, М.—Л., 1928 г., стр. 64—65. <sup>5)</sup> По рассказу жены писателя — Фед ссы Владимировны (1940 г.). <sup>6)</sup> Нечаев Е. Трудные песни, стр. 2, автобиографическая статья. <sup>7)</sup> Нечаев Е. Е. Гута. Изд. „ЗИФ“, М.—Л., 1928 г., стр. 298—299. <sup>8)</sup> Там же, стр. 75. <sup>9)</sup> „Пролетарские писатели“. Госиздат, Москва, 1925 г., автобиографическая статья. <sup>10)</sup> Нечаев Е. Е. Гута. Изд. „ЗИФ“, М.—Л., 1928 г., стр. 76. <sup>11)</sup> Там же стр. 67—68. <sup>12)</sup> По рассказу брата писателя — Якова Ефимовича (1940 г.). <sup>13)</sup> Автобиография Нечаева в сб. „Пролетарские писатели“, стр. 434. <sup>14)</sup> По рассказу брата писателя — Якова Ефимовича (1940 г.). <sup>15)</sup> По рассказу брата писателя — Якова Ефимовича (1940 г.). <sup>16)</sup> По письму жены писателя — Федосьи Владимировны — к автору этой статьи (датируется 21 июля 1940 г.).

## РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЦАРСТВА САВИНЫХ (В. А. Слепцов в Осташкове)

<sup>1)</sup> „В этом отношении, — сообщает К. Чуковский, — Слепцов пошел дальше своего учителя — Н. Г. Чернышевского, который характеризовал различные группы людей не их хозяйственной деятельностью, а идеями“. См. К. Чуковский „Люди и книги шестидесятих годов“. Л., 1934 г., стр. 211. <sup>2)</sup> „Гимн“

этот принадлежит перу известного романиста И. И. Лажечникова. <sup>3)</sup> А. М. Горький. О Василии Слепцове. „Литературное наследство“, 1932 г., т. III, стр. 143. <sup>4)</sup> Ерши, укрепленные на столбиках, заимствованы были из городского герба. Они символически изображали процветание в Осташкове рыбного промысла, изобилие рыбы. <sup>5)</sup> Произведения искусства. <sup>6)</sup> „Тверские губернские ведомости“, 1863 г., № 15—„О промышленности города Осташкова“. <sup>7)</sup> В. Покровский. Историко-статистическое описание города Осташкова. Тверь, 1880 г., стр. 80. <sup>8)</sup> Слепцов имеет здесь в виду „хозяев города“—Савиных, которые довели население Осташкова до обнищания. <sup>9)</sup> „Гимн“ И. И. Лажечникова, начинавшийся словами: „Славься, славься, наш Осташков...“, имел несколько куплетов, относящихся к пожарной команде, и такой припев:

„Гей, дружина славная,  
Есть ли на Руси где равная!  
Дайте нам ответ—  
Нет! Нет! Нет!“

<sup>10)</sup> В Осташкове пожарная команда была составлена не из отставных солдат, как в других городах, а из местных жителей. <sup>11)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, дело 4050. <sup>12)</sup> Там же, д. 18211. <sup>13)</sup> Ф. канц. тверского губернатора, д. 4050. <sup>14)</sup> Приблизительно в середине марта. <sup>15)</sup> В. Покровский. Историко-статистическое описание г. Осташкова, Тверь, 1880, стр. 128. <sup>16)</sup> К. Чуковский. Люди и книги шестидесятых годов, Л. 1934 г., стр. 171—172. <sup>17)</sup> Там же, стр. 226—227. <sup>18)</sup> Это письмо, как и нижеследующее, помещено в книге К. Чуковского „Люди и книги шестидесятых годов“, Л., 1934 г., стр. 301—302. <sup>19)</sup> Жена Слепцова. <sup>20)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, 1-й стол, д. 7465, л. 1. <sup>21)</sup> Там же, л. 4. <sup>22)</sup> Там же, д. 7464. <sup>23)</sup> Там же, д. 7464. <sup>24)</sup> Там же, д. 7464. <sup>25)</sup> Там же, л. 14. <sup>26)</sup> Письмо Слепцова от 8 августа 1871 г. помещено в „Архиве села Карабиhi“, М., 1916 г., стр. 183. <sup>27)</sup> В. А. Слепцов. Соч., изд. „Академия“, 1932 г., т. II, стр. 491. Вступит. статья К. Чуковского.

Встречаемые в тексте цитаты, специально не оговоренные, взяты из „Писем об Осташкове“ (Соч. В. А. Слепцова, т. II, изд. „Академия“, 1932).

## „ХОЖДЕНИЕ В НАРОД“ С. М. СТЕПНЯКА-КРАВЧИНСКОГО

<sup>1)</sup> „Краткий курс истории ВКП(б)“, стр. 12. <sup>2)</sup> Ем. Ярославский. Разгром народничества марксизмом. Гос. изд. полит. лит.-ры, 1939, 2-ое исправл. издание, стр. 39. <sup>3)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24411, л. 11 обор. <sup>4)</sup> Там же. <sup>5)</sup> С. Тодрия. Незабываемые дни. См. книгу „Рассказы старых рабочих Закавказья о великом Сталине“. Второе дополн. изд. Изд. „Молодая гвардия“, 1937 г., стр. 30. <sup>6)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24411, л. 2. <sup>7)</sup> Там же, д. 11184, л. 53.

## ЛИТЕРАТОРЫ В ВЫШНЕВОЛОЦКОЙ ПЕРЕСЫЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ

В. Г. Короленко

<sup>1)</sup> „Короленко“. Петербургский сборник. Изд. „Мысль“, П., 1922, стр. 165. <sup>2)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, д. 11167, л. 7. <sup>3)</sup> „Короленко“. Петербургский сборник, 1922 г., стр. 165—166. <sup>4)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24418, л. 1—2. <sup>5)</sup> Там же, д. 24495, л. 3—86. <sup>6)</sup> Там же, д. 11202. <sup>7)</sup> См. примеч. в книге „В. Г. Короленко“. Избр. соч. под ред. Н. К. Пиксанова. Изд. 2-ое, перераб. ГИХЛ, Л., 1935, стр. 673. <sup>8)</sup> Владимир Короленко. История моего современника. т. III, изд. „Задруга“, М., 1921 г., стр. 165. <sup>9)</sup> Там же. <sup>10)</sup> Ф. канц. тверского губернатора, д. 2829, л. 41—42. <sup>11)</sup> Там же, л. 15—16. <sup>12)</sup> Как теперь ясно, П. Волохов попал в тюрьму по недоразумению, т. к. носил фамилию и имя революционера, безуспешно разыскиваемого жандармерией. <sup>13)</sup> Из тюремных писем. Письмо № 4. <sup>14)</sup> Ф. канц. тверск. губернатора, д. 11167, л. 27—29. <sup>15)</sup> Разрешалась игра в шахматы, но не была распространена. <sup>16)</sup> В. Г. Короленко. История моего современника, т. III, стр. 163—164.



17) Там же, стр. 184. 18) Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24494, л. 3 и д. 11155, л. 10. 19) Там же, д. 11183, л. 19. 20) Там же, д. 156 (1879 г.), л. 271—272 и д. 90 (1878 г.), л. 63—65. 21) Там же, д. 24511.

## Г. А. МАЧТЕТ

1) Журн. „Былое“ № 4 (16), 1906 г., стр. 175. 2) Ф. канц. тверск. губернатора, д. 2829, л. 41 и обор. 3) Ф. тверск. губ. правления, д. 725, л. 24. 4) Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24465, л. 5. 5) Ф. тверск. губ. правления, д. 150, л. 20—21 и д. 90, л. 9. 6) Ф. канц. тверск. губернатора, д. 24465, л. 29. 7) Там же, л. 2. 8) Ф. тверск. губ. жандармск. упр., д. 58, л. 38.

## А. И. ЭРТЕЛЬ ПОД ГЛАСНЫМ НАДЗОРОМ

1) Фонд канц. тверск. губернатора, д. 3987, л. 1 и обор. 2) Там же, л. 6 и обор. 3) „Письма А. И. Эртеля“ под ред. и с предисл. М. О. Гершензона. М., 1909 г., стр. 29. 4) Ф. тверск. губ. жандармск. управл., д. 2061, л. 108 и 2062, л. 226. 5) Письма Эртеля, стр. 57. 6) Там же, стр. 177. 7) Ф. тверского губ. жандармск. упр., д. 27, л. 44 об. 8) Весеьгонский райархив. Письмо Эртеля от 15 сентября 1887 года. 9) Симбирский Н. В. Эртель, как руководитель начинающих писателей. Журн. „Исторический вестник“, июнь 1915 г., стр. 875. 10) Там же, стр. 876. 11) Там же, стр. 877. 12) Весеьгонский райархив. Письма Эртеля. 13) Эртель, как руководитель начинающих писателей, стр. 880. 14) Там же, стр. 881.

## К ТВОРЧЕСКОЙ ИСТОРИИ „ЧАЙКИ“

1) Щепкина-Куперник Т. Л. Дни моей жизни. Театр. Литература. Общественная жизнь. Изд-во „Федерация“, артель писателей „Круг“, стр. 257. 2) Там же, стр. 258. 3) Письма А. П. Чехова. Под ред. М. П. Чеховой, т. IV (1892—1896). Книгоиздат. писателей в Москве, 1914 г., стр. 393. 4) Там же, стр. 394. 5) Чехов М. П. „Вокруг Чехова“. 6) А. П. Чехов. Избранные произведения. Изд. детской литературы, 1935 г., стр. 40. 7) Ф. тверск. губ. стат. к-та, д. 1294. 8) Чехов М. П. Биографический очерк (1892—1896) в кн. „Письма А. П. Чехова“, т. IV, 1914 г.

## А. М. ГОРЬКИЙ НА КАМЕНСКОЙ ФАБРИКЕ

1) Архив им. Горького. Дело департамента полиции, III эксп., 1889, д. 1096, л. 72. 2) М. Горький. О литературе. Гослитиздат, 1936 г., стр. 240. 3) Груздев Илья. Биографический очерк в I томе. Собр. сочинений А. М. Горького. Гослитиздат, стр. 8. 4) Газ. „Пролетарская правда“ (г. Калинин), № 15, 1937 г. 5) Там же. 6) Ф. новоторжского уездн. исправника, д. 876, л. 4. 7) М. Горький. Собр. сочинений. Жизнь Клима Самгина (Сорок лет), ч. II. ГИЗ, 1929 г., стр. 319—320. 8) Ф. тверск. губ. жанд. управл., д. 2096, л. 389. 9) Полевой Б. и Куприянов Г. Письма из Сорренто. Калининоблиздат, 1937 г. 10) Архив А. М. Горького. Департ. полиции, III эксп., 1889 г., д. 1093, л. 726/1. 11) Ф. новоторжского уездн. исправника, д. 876, л. 3—4. 12) Там же, д. 616, л. 1—2. 13) Газ. „Смена“, № 7, 1927 г. 14) Та же газета, № 46, 1928 г. 15) Газ. „Тверская правда“ (г. Калинин), № 106, 1931 г. 16) Та же газета, № 117, 1931 г. 17) Та же газета № 33, 1929 г.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
От редактора . . . . .	3
Белинский в Прямухине . . . . .	7
В поисках художественной правды . . . . .	18
А. Н. Островский в Тверской губернии . . . . .	27
Достоевский в Твери . . . . .	52
Страницы к биографии Г. Е. Нечаева . . . . .	77
Разоблачение царства Савиных . . . . .	82
„Хождение в народ“ С. М. Степняка-Кравчинского . . . . .	101
Литераторы в Вышневолоцкой пересыльной тюрьме . . . . .	105
А. И. Эртель под гласным надзором . . . . .	116
К творческой истории „Чайки“ . . . . .	123
А. М. Горький на Каменской фабрике . . . . .	126
Примечания . . . . .	131

Ответственный редактор *Н. И. Попов.*

---

Тираж 4870. Подписано к печати 5/III 1941 г. ЕА824. Печати. лист. 8,5.  
 Авт. л. 10. Тип. зн. в 1 печатном листе 47200. Цена 3 р. 50 к., в переплете  
 4 руб. 25 коп. Типография газ. „Пролетарская правда“, гор. Калинин,  
 ул. Володарского, 44. Заказ № 7280 - 40.

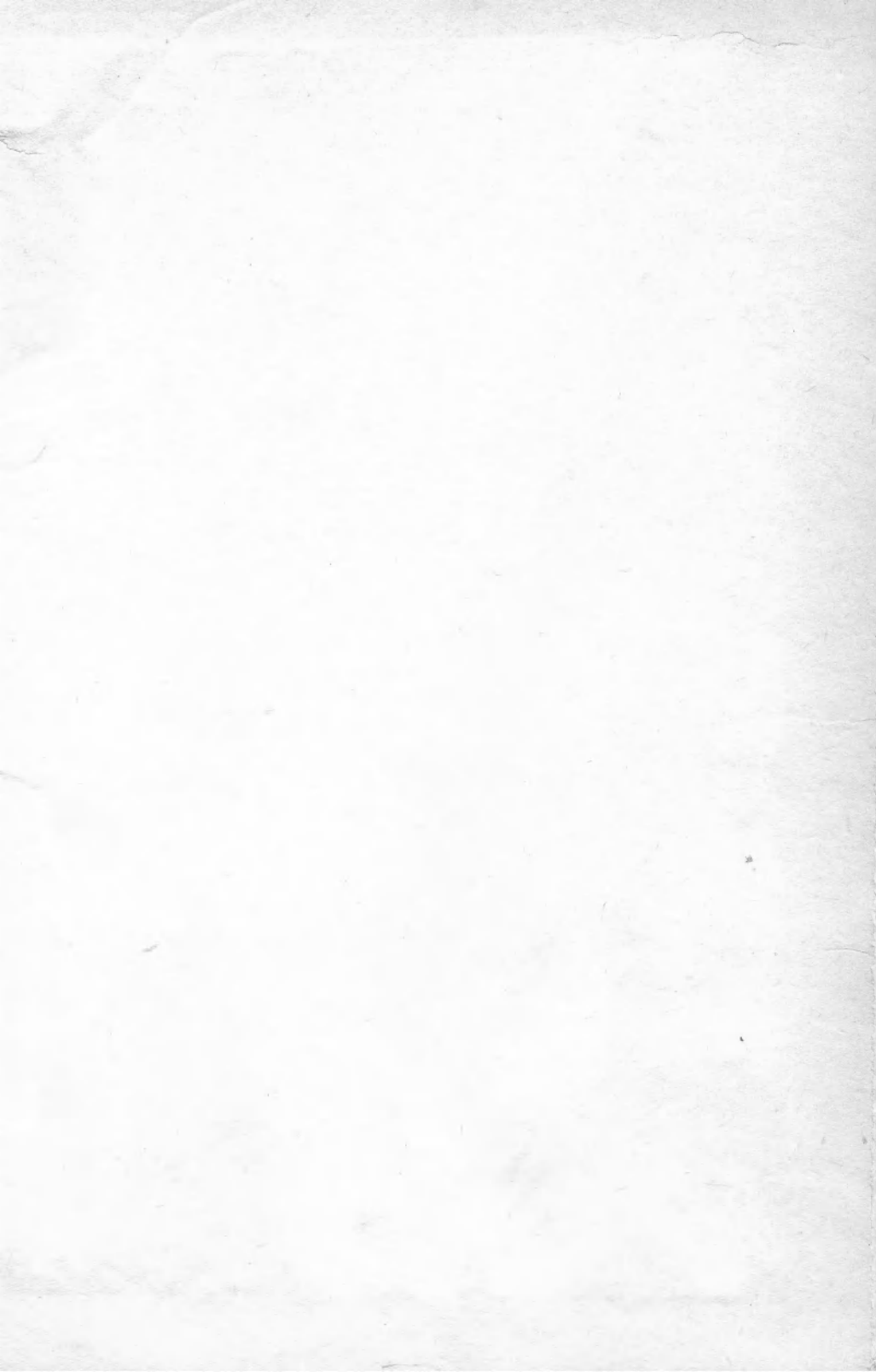
---

# ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ.

Страница	Строка	Напечатано	Следует читать
52	6 — 7 сверху	} Петербуге трудящиеся	Петербургe трудящимися
54	10 снизу		
53	19 — 20 сверху		

„Писатели в Тверской губернии“.





43000

ЦЕНА 3 р. 50 к.

в переплете 4 р. 25 к.

Станд. обр.

971  
168